

Пресс-досье

Душа и лира Сергея Есенина



**К 125-летию со дня рождения
Сергея Александровича Есенина,
русского поэта
(03 октября 1895 — 28 декабря 1925)**

91.9:83

Д 86

Составитель : ведущий библиограф С. Л. Абрамова

Д 86 Душа и лира Сергея Есенина: [пресс-досье по материалам периодических изданий] : 12+ / Сост., комп. набор ведущий библиограф С. Л. Абрамова; МБУК «ЦБС гог Выкса» Центральная Библиотека. – Выкса, 2020. – 52 с.

Пресс-досье представляет собой подборку статей о жизни и творчестве великого русского поэта Сергея Есенина и приурочено к его юбилейной дате. Адресовано широкому кругу читателей.



Уважаемые читатели!

В 2020 году мы отмечаем 125-летие со дня рождения русского поэта Сергея Александровича Есенина. Предлагаем Вашему вниманию подборку статей из российских журналов разных лет, посвященных жизни и творчеству нашего знаменитого соотечественника.

Он прожил всего тридцать лет, но творчество его, неповторимо яркое и глубокое, прочно вошло в нашу литературу и пользуется огромным успехом у многочисленного российского и зарубежного читателя. Стихи поэта полны сердечной теплоты и искренности, страстной любви к беспредельным просторам родных полей, «неисчерпаемую печаль» которых умел он так эмоционально и так звонко передать.

Его поэзия всегда жила в душе и в памяти народа, потому, что уходит своими корнями в толщу народной жизни, питается её соками, растет из её глубин. Есенин отличается такой силой искренности и непосредственности чувств, такой напряженностью нравственных поисков и такой чисто человеческой неповторимостью, что говорить о его сложном и противоречивом творчестве совершенно невозможно без учета его биографии, его жизненного пути.

Значение творчества Есенина для русской поэзии было понято далеко не сразу. Многие современники поэта вообще отрицали его, пустив в обиход оскорбительное слов «есенинщина», подразумевая под ним пессимизм, упадочничество, аморальность. Лишь немногие по достоинству сумели тогда оценить талант Есенина.

Прошли года, десятилетия, столетие, а поэзия Есенина не только не утратила своего эстетического и идейно нравственного значения для современности, но и обрела свою силу. Многие поэты, высоко оценивали поэтическое наследие Есенина, брали на вооружение его творческие достижения. Демократическая, народная сущность его лирики теснейшим образом связана с традициями русской поэзии. Есенину было незнакомо чувство национальной исключительности. Он мечтал о том времени, «когда пройдет вражда племен», когда «людская речь в один язык сольется». И в тоже время у поэта было сильно развито национальное чувство. Поэзия Есенина объективно противостояла пренебрежению к русской.

В досье статьи расположены по алфавиту авторов статей. В электронном виде в PDF доступны полнотекстовые версии статей. Пресс-досье снабжено библиографическим списком использованных материалов.

Предлагаем к прочтению!

«Фамилия Есенин – русская – коренная, в ней звучат языческие корни – Осень, Плаусень, осень, Асень – связанные с плодородием, с дарами земли, с осенними праздниками. Сам Сергей Есенин, действительно, деревенский, русский, кудреватый, голубоглазый, с загорным носом». Алексей Толстой

«Весной 1918 года я познакомился в Москве с Есениным. Он как-то физически был приятен. нравилась его стройность; ляжки, но уверенные движения; лицо некрасивое, но миловидное. А лучше всего была его весёлость, лёгкая, бойкая, но не шуточная и не резкая. Он был очень ритмичен. Смотрел прямо в глаза и сразу производил впечатление человека с правдивым сердцем, наверное – отличнейшего товарища». Владислав Ходасевич



**«С того и мучаюсь, что не пойму –
Куда несет нас рок событий».**

**«Лицом к лицу
Лица не увидеть.
Большое видится на расстоянье».**

**«Но более всего
Любовь к родному краю
Меня томила,
Мучила и жгла».**

Сергей Есенин.

Родина

2007 №10

Аннинский Л. Конгениальная пара

Как поженились Сергей Есенин и Айседора Дункан

Айседора Дункан приехала в Москву по приглашению наркома просвещения Луначарского - открывать школу танцев. Айседора на тот момент была уже признанной мировой звездой и немолодой, уставшей от жизни женщиной, за плечами которой было много несчастных романов и двое детей, погибших при трагических обстоятельствах. Есенин, несмотря на молодость - на момент их встречи ему было 26 - был пресыщенным жизнью столичным поэтом, одним из ярких божественных героев послереволюционной России. Толпы поклонниц преследовали его.



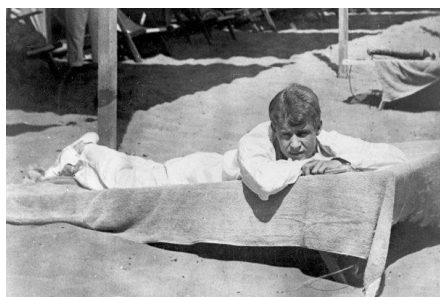
Поэт Сергей Есенин



Сергей Есенин и Айседора Дункан. Фото: wikipedia.org

Сергей и Айседора познакомились на одном из приемов художника Георгия Якулова. До этого поэт пытался познакомиться с танцовщицей неоднократно - и всякий раз их разводил случай, как будто оберегая Есенина от ставшей в итоге трагической встречи. И вот наконец он увидел ее - исполняющей танец с шарфом. Есенин был

потрясен. Потрясение только усилилось, когда, принимая поздравления от поклонников, танцовщица у всех на глазах с присущей ей непосредственностью поцеловала поэта в губы.



В тот же вечер, спустя пару часов, Айседора уже вальяжно полулежала на софе, а поэт стоял возле нее на коленях. Она гладила его по волосам и говорила с акцентом: "За-ла-тая га-ла-ва...".

Вскоре Есенин переехал к ней на Пречистенку. Сергей и Айседора говорили на разных языках, но не расставались друг с другом. "Он читал мне свои стихи, - рассказывала Айседора переводчику и директору

Школы танцев Илье Шнейдеру. - Я ничего не поняла, но я слышу, что это музыка, и что стихи эти писал гений!". За романом поэта и танцовщицы следила вся божественная Москва. Благо жизнь они вели публичную, регулярно появляясь на приемах и литературных вечерах - она танцевала, он читал стихи. Айседора называла Есенина "Ангел", Есенин называл ее "Изадорой".

Друзья Есенина были недовольны, что Дункан увела "их Сережу", московские же знакомые Айседоры поражались покорности, с которой она



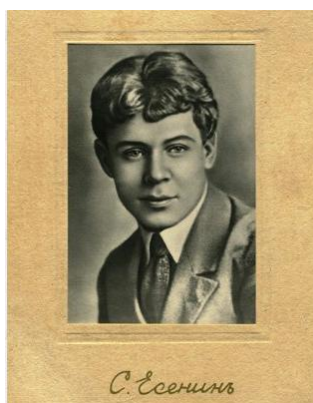
принимала зачастую оскорбительные выходки поэта. Есенин часто напивался, случалось, что и бил Дункан.

Противоречивость их отношений нашла отражение в "Романе без вранья" ближайшего друга Есенина, Анатолия Мариенгофа: "Есенин впоследствии стал ее господином, ее повелителем. Она, как собака, целовала руку, которую он заносил для удара, и глаза, в которых чаще, чем любовь, горела ненависть к ней. И все-таки он был только партнером, он был как кусок розовой материи - безвольный и трагический. Она танцевала. Она вела танец".



Московская жизнь Дункан перестала складываться - советская власть не давала ей тех возможностей для реализации, на которые она рассчитывала, в то же время танцовщицу звали на гастроли по США и Западной Европе, к тому же в Париже скончалась мать Айседоры, и танцовщица решила на время покинуть Россию. Есенин не хотел отпускать Дункан и поехал с ней - для этого им пришлось пожениться. Пара зарегистрировала брак в Хамовническом загсе - оба стали носить

двойную фамилию Дункан-Есенин. "Теперь я Дункан", - выходя, радостно повторял Есенин. Проведя несколько счастливых месяцев в Европе, все же несколько омраченных тоской Есенина по родине, супруги отправились в Штаты, где их любовь начала рассыпаться. Айседора всячески пыталась продвинуть мужа как поэта - ей удалось организовать перевод и публикацию его стихов, она устраивала поэтические чтения, но Есенина здесь воспринимали исключительно как милое дополнение, едва ли не как игрушку знаменитой танцовщицы. Самолюбивый Есенин страдал, чувствовал тотальное одиночество, ненужность, отчего заболел депрессией. Он все больше, все чаще пил и устраивал скандалы, таким образом все же попадая на первые полосы американских газет, но, опять-таки, в качестве эксцентричного мужа несравненной, великой Айседоры.



Ссоры и скандалы случались все чаще - дошло до того, что Дункан пришлось вызывать полицию. Есенин оказался в психиатрической клинике. Вскоре они вместе вернулись в Россию, но теперь в разговорах с друзьями Есенин отзывался об Айседоре холодно: "Вот пристала, липнет, как патока!". Мариенгоф пишет о том периоде: "Есенин уехал с Пречистенки - надломленным. А из своего рокового свадебного путешествия по Европам и двум Америкам (будь оно проклято, это свадебное путешествие!) он в 1923 году вернулся в Москву - сломанным". Айседора уехала от Есенина в Париж - туда ей пришла телеграмма, в которой Есенин объявил о разрыве их отношений.

Спустя два года после расставания Сергей Есенин повесился в гостинице Англетер, а еще через полтора года погибла и Айседора - тоже от удушения, ее длинный шарф на ходу попал в ось автомобильного колеса, и петля затянулась.



Новый мир

2006 № 10

Басинский П. Кина не будет

Разговор о книге

(Марченко. А. Сергей Есенин. Русская душа / Алла Марченко. - М. : АСТ-Пресс Книга, 2005. - 368 с.)

Книгу Аллы Марченко о Сергее Есенине я читал как раз в то время, когда по телевизору шел сериал “Сергей Есенин” по книге Безрукова-старшего с Безруковым-младшим в заглавной роли. Сериал был ужасный, об этом писали почти все газеты, возмущались родственники поэта. В общий хор отрицательных суждений включился и я, напечатав в “Российской газете” рецензию под названием “Развесистая гармошка”.

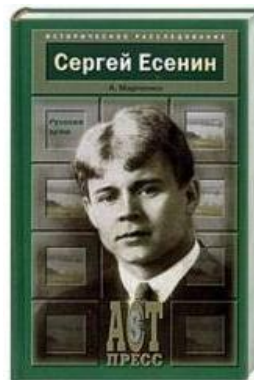
И в это же время на презентации собрания сочинений Бориса Пастернака я встретился с самой Марченко. Вспомнив, как нелепо, идиотски был представлен Пастернак в сериале — даже хуже, чем сам Есенин, хотя все-таки лучше, чем Блок, которого сыграл, в общем-то, хороший артист Руденский, я спросил у Марченко ее мнение о фильме, будучи заранее уверен, что услышу бурное возмущение. Но Марченко как-то отмолчалась, скомкала разговор. Обоюдной игры в “ах, как это ужасно!” не получилось.

Уже после скандальной шумихи вокруг сериала я вдруг задумался: а что мы, собственно говоря, ругали? И какой экранный Есенин нас устроил бы? Как мы его себе представляем? Во-первых, общепринятый образ Есенина, эдакий “коллективный Есенин”, — это нонсенс. Для филолога, историка литературы он — один, для домохозяйки — другой, для школьницы (если таковые еще читают Есенина после “Ласкового мая” и “Иванушек-интернешнл”) — третий, для блатных — четвертый и т. д.

Во-вторых, за свои тридцать лет жизни поэт даже внешне очень сильно изменился. Молодой Есенин, по едкому, но точному замечанию Горького, был “кукольно красив” и в то же время напоминал расфранченного полового из богатого трактира. Горький же заметил, что облик молодого Есенина был отчетливо женственным, он больше походил на девушку, чем на парня. (Поразительным образом эта женственность вновь проступила на лице мертвого Есенина.) В конце жизни Есенин стал совсем иным. Уже на фотографии 1924 года, где он сидя разговаривает со стоящим рядом Леонидом Леоновым, в его облике нет почти ничего, что отличало бы его от нормального советского писателя. Волосы прямые, прическа аккуратная, костюмчик строгий. Но главное — лицо волевое, мужественное. Никакой инакости, которая прежде отличала Есенина. Легко предположить, что, найдись “чернила в Англетере”, как писал Маяковский, останься Есенин жив, и получили бы мы нормального советского поэта с не совсем “правильным” прошлым. А у кого из первых советских писателей оно было “правильным”?

“Советскостью” пропитана уже “Анна Снегина”, пропитана настолько, что, изучая Есенина в школе, я, например, никак не выделял его на фоне советской литературы. Чего стоит одна фраза о Ленине, обращенная к мужикам: “Он — вы”. Лизнул, как говорится, до самых гланд! И эту чудовищно пошлую, низкопоклонническую фразу нам преподносили как поэзию!

Так что пожалеем Безрукова-младшего. Он взялся за роль, которую сыграть невозможно. И потому что реальная фактура неуловима, и потому что Есенин сам всю жизнь себя играл.



Насколько я понимаю, задача, которую поставила Алла Марченко перед собой в этой книге, состояла в том, чтобы “пробиться” к реальному Есенину. Демифологизировать его. Встроить в четкий жизненный контекст.

Книга открывается своего рода маленьким альбомом фотографий. Не знаю, авторское ли это решение или издательское, но решение неожиданное и хорошее. Фотографии о многом говорят лучше слов, и после их просмотра к словам относишься более придирчиво. Читая книгу Марченко, я постоянно к этим фотографиям возвращался, как бы проверяя автора на верность понимания того или иного персонажа книги.

Вот отец Есенина с сыном, фотография 1912 года. Сынок в светлой летней шляпе, с “галстуком”, стоит приосанившись. Почти “барчонок”. Но и папа не выглядит “мужиком” в трафаретном понимании этого образа. Папа в шикарном новеньком картузе, в лаковых полуботинках, усы подкручены вверх, лицо чистое, точеное, как из слоновой кости. Понятно, что фотография “постановочная”, но то, что это не просто “мужик”, все равно видишь.

Вот Есенин среди типографских работников “Товарищества И. Д. Сытина”, 1914 год. Именно тогда его впервые увидел Горький и отметил “кукольность” и женственность. И впрямь похож на девушку “с характером”. Но и стоящий перед ним типографский рабочий — хорош! Белоснежная сорочка, бант в горошек на груди, набриолиненные усы и волосы, длинные тонкие пальцы музыканта, стоит вполоборота и смотрит надменно в сторону. Бонвиван, аристократ, мот, дамский угодник, кто хотите. Персонаж из комедии Уайльда “Как важно быть серьезным”, но никак не пролетарий, которому нечего терять. И это понятно. Рабочая аристократия. В которой Есенин был вполне своим.

Вот чего создатели сериала о Есенине катастрофически не понимали. Есенин вышел из другой России.

С самого начала книги Алла Марченко старательно воссоздает этот контекст. Да, Есенин был из крестьянской семьи, но — какой? “На самом деле и семья была не простой, и отец поэта, с двенадцати лет работавший в Москве, — крестьянин по социальному происхождению, а не по роду занятий...” С другой стороны, Константиново (к моменту рождения Есенина) — почти типовая модель “полуразбитой отхожим промыслом деревни”.

Марченко старается внушить: между деревней и Москвой не было тогда такой ужасающей дистанции, какая сегодня существует между Москвой и не то что деревней, но каким-нибудь районным центром недалеко от Москвы.

“Отхожие” крестьяне легко встраивались в московскую жизнь. Так называемые “временные” москвичи (как и петербуржцы) вполне органично вписывались в столичный контекст, да просто — во многом его и создавали. “Вот я еще в силах работать, — говорил один такой крестьянин В. А. Гиляровскому, — а как отдам все силы Москве — так уеду к себе на родину. Там мы ведь почти все москвичи...”

Так что “явление” Есенина в обеих столицах было заранее подготовлено. “Ряженым” он стал не тогда, когда носил шикарную шляпу и лаковые ботинки, а когда вместе с Николаем Клюевым одевался подчеркнуто “по-русски”, “по-мужицки”. Вот где комедия с переодеванием началась! Вопрос в том, где и когда комедия переросла в трагедию.

Алла Марченко показывает: от “почвы” Есенина не Гиппиус и не салоны оторвали, но отхожие промыслы. Уже его предков земля не кормила, а кормила Москва. И наоборот, внешнее обращение в “мужика” было нарочитым. Зато внутренняя “почва”, опять же на генном уровне, никуда не пропала.

Вот ведь узел-то какой! Поди его распутай. А времени мало, а Россия меняется стремительно: война, революция, Гражданская, и все это в течение каких-то 6 — 7 лет, и это в России, которая привыкла жить неторопливо, в которой отмену крепостного права полвека готовили, готовили — и все равно поспешили.

Вот откуда эта тональность в письме молодого Есенина М. П. Бальзамовой из Константинова 1912 года: “...Ну вот, ты и уехала... Я недолго стоял на дороге; как только

вы своротили, я ушел... И мной какое-то тоскливое-тоскливое овладело чувство. Что было мне делать — я не смог и придумать. Теперь я один со своими черными думами! <...> Я не знаю, что делать с собой. Подавить все чувства? Убить тоску в распутном веселии? Что-либо сделать с собой такое неприятное? Или — жить, или — не жить? И я в отчаянии... что делать? Как жить?” Деревенский Гамлет? Принц на распутье?

Алла Марченко последовательно развенчивает есенинский миф, решаясь на спор не только с современными трактовками, но и с Горьким, и с Маяковским. Горький сравнил Есенина с польским деревенским мальчиком, который попал в Краков, заблудился в городе и не нашел другого выхода, как прыгнуть с моста в Вислу и утонуть (рассказ Стефана Жеромского). “...Заблудиться в Москве, — иронически пишет Марченко, — какой она была в десятых годах XX века, уроженец села Константинова и выпускник Спас-Клепиковской школы не мог никак. Да, из дома в школу его обычно отвозил дед, напрямки, через Солотчу, а вот на каникулы — рождественские, пасхальные и летние, то есть минимум три раза в год, Есенин добирался до Константинова самостоятельно: через Рязань, с пересадкой; с узкоколейки — на настоящий поезд, до станции Дивово, а оттуда еще и до деревни... Да и древняя столица в начале века все еще оставалась большой деревней”. <...> И деревьев здесь было больше, чем в облысевших приокских селах, и пахло получше...” Это то, что касается жизненного контекста.

В плане литературной учебы Алла Марченко справедливо связывает молодого Есенина с символистами, особенно с Блоком. Влияния символистов в то время миновать было невозможно, ведь и совсем юный Маяковский в Бутырской тюрьме ими зачитывался. “...Начиная с поздней осени 1913 года Есенин работает, явно оглядываясь на Блока. Например, сознательно добивается ощущения сини, простора и дали, синевы особенно, заливая голубенью ситцевые свои ландшафты, чтобы уже по этой то светящейся, нежно-перламутровой, то глубокой до черноты сини узнавали его, Есенина, поэтическую страну: “Голубизна незримой пуши”, в прозрачном холоде заголубели дали”, синий вечер” и т. д.”. У Блока — “как рукавом машут рябины”, у Есенина — “черемуха машет рукавом”. Это уже прямое подражание, почти поэтический плагиат.

Народный университет Шанявского, штудирование “Поэтических воззрений славян на природу” А. Н. Афанасьева. Племянница Есенина рассказывала писателю Юрию Медведеву, что Есенин выменял трехтомник Афанасьева за мешок соли (этот факт не из книги Марченко). Возможно. Но Афанасьев — чтение не из легких, книга сложная, насыщенная. Полная версия ее названия — “Поэтические воззрения славян на природу. Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов”.

Соедините Блока и Афанасьева, и поэтика раннего Есенина предстанет совсем в ином виде. Но все это, разумеется, не объясняет трагедии Есенина. А вне трагедии понять его невозможно.

А вообще, стоит ли искать в есенинском пути какую-то отчетливую логику? Например, где заканчивались филологический опыт и напичканность модными поэтическими поветриями и начинались обычное русское пьянство, загул, дебоширство? Как это все стыкуется? Но самое главное — каким образом из этого можно понять несомненный поэтический гений Есенина? Истоки у Есенина и, например, Клюева общие, но Клюев сколько угодно замечательный поэт, но никак не поэтический гений.

Вот и Алла Марченко — неизбежно — начинает книгу рассудительно, несколько даже хладнокровно, во всяком случае, иронически в отношении мифа о Есенине, а заканчивает ее все-таки признанием его “инакости”. Не все вписывается в контекст, не все поддается геоэтнографической и культурологической оценке. Что-то остается вне контекста. Иначе Есенин не был бы до такой степени внятен нам, нынешним, от филолога до блатного. Так что грубоватая метафора Маяковского — “летите, в звезды врезываясь”, — над которой Марченко посмеивается, отнюдь не лишена смысла. Почвенно-городской конфликт или,

по мнению Марченко, отсутствие одного — современному читателю, в принципе, до лампочки. Есенина любят не за крестьянское происхождение и не за учебу у символистов. Тщательно обрисовав контекст, Алла Марченко все-таки упирается в “инакость”. Любопытно ее объяснение гибели Есенина. Так сложилось. Временное одиночество, пустота вокруг, денег нет, друзья не поспешили. На самом деле, скорее всего, так и было. Во всяком случае, это объяснение более разумно, чем безумие версии с убийством, где ни концов, ни начал. Но почему тогда смерть Есенина была столь ожидаемой, почему не любившая Есенина Ахматова была потрясена, но не удивлена? Почему в самоубийстве Есенина не усомнился никто из коллег по литературе, только версии выдвигались разные: так, Илья Груздев с уверенностью, как о чем-то общепризнанном, писал Горькому в Сорренто, что Есенин даже не повесился, а задушил себя, перебросив веревку через трубу парового отопления? Все-таки гибель была неизбежной?

Пожалуй, книга Аллы Марченко хороша именно тем, что на все вопросы не отвечает. И построена она хотя и хронологически строго, но пропорционально субъективно. О чем-то больше, о чем-то меньше, о чем-то — умолчание. На фоне чудовищного сериала “Есенин” с его навязчивой идеей “какого хорошего парня замочили” этот осторожный субъективизм был как бальзам на душу. С другой стороны, по книге Марченко фильм не снимешь. Вот уж точно здесь “кина не будет”. Мне по душе пафос этой книги: с Есениным надо быть осторожнее.



Вокруг света

2011 №3

Головинская И. История левой босоножки

Современники называли Айседору Дункан «божественной босоножкой», сама себя она аттестовала марксисткой и действительно была яркой поклонницей всего революционного, от левого искусства до левых идей.



Фото: CULTURE-IMAGES/EAST NEWS

Ее жизнь — как будто сценарий бразильского сериала: слишком много трагических потрясений и роковых страстей, слишком много поэтов, художников, автомобилей, скандалов, романов. Так много, что впору приписать Айседоре Дункан статус звезды совсем другой эпохи, где-то между принцессой Дианой и певицей Валерией. Шоу-бизнес был в зачаточном состоянии, но она уже была его настоящей звездой, и к тому же сама себе режиссер, импресарио и пиар-менеджер.

Слава Дункан гремела на всю Европу, ее называли «живым воплощением души танца», «Терпсихорой». Даже не склонный обольщаться Василий Розанов был очарован («танцует природа...») и отдавал должное искусству Дункан: «Личность ее, школа ее сыграют большую роль в борьбе идей новой цивилизации».

Fin de siècle как раз и характеризуется обострением борьбы идей в искусстве, политике, отношениях между людьми. Начало XX века породило почти религиозного свойства ожидания прихода новой цивилизации, нового человека, воспетого устами Заратустры, — этот ницшеанский персонаж стал повсеместно и неожиданно популярен. «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом...» — Чехов, как всегда, очень точно зафиксировал и экстатичность, и чужеродную внеположенность, и некоторую смехотворность «нового слова» искусства будущего.

Новый век как будто бы породил и новую породу женщин — некрасивых, но сексапильных. Так, фотографии некрасивой, с большой головой, Лили Брик никак не помогают объяснить ее поистине магнетическое воздействие на Маяковского. Фотографии вообще такое «не берут», они не передают и десятой части того, что, судя по воспоминаниям современников, видели зрители концертов Айседоры Дункан, сделавшей само женское тело материалом для искусства. Когда в конце 1904 года Дункан приехала на гастроли в Петербург, русское общество приняло ее на ура. Самые тонкие критики не сомневались, что танцу Айседоры суждено смести с «парохода современности» старую культуру, классический и засохший от академизма балет. Спустя столетие взвешенный подход критикам дается легче, и теперь о Дункан профессионалы отзываются как о блистательной дилетантке, не оставившей ни школы, ни системы.

Современный свободный танец, который проповедовала Айседора Дункан, тесно связан с движением за освобождение женщин, за женскую независимость. «Если мое искусство символично, то символ этот — свобода женщины и эмансипация ее от закосневших условностей, которые лежат в основе пуританства», — писала она. Надо понимать, что пуританство — это не фигура речи: век назад американки действительно были заключены в клетку строжайших канонов и запретов. Так, например, верхом неприличия было не только показать ногу, само слово «нога» могло оскорбить слух какой-нибудь тетушки Джейн. Поэтому абсолютной революцией был даже внешний вид Айседоры Дункан:

танцующая для публики женщина, похожая на античную статую, в короткой прозрачной тунике, не просто без корсета (что само по себе неприлично), но — о ужас! — без нижнего белья и босиком...

Дети суфражистки

Дочь учительницы музыки и запутавшегося в финансовых аферах поэта, предательски бросившего жену с маленькими детьми, Анджела Дункан родилась в Сан-Франциско 26 мая 1877 года, когда перспективы на выживание семьи были весьма туманными. Нищета обрушилась внезапно: в своих воспоминаниях «Моя жизнь» Дункан пишет, что мать, когда была ею беременна, питалась исключительно устрицами с шампанским, но после рождения ребенка семья с четырьмя детьми осталась практически без средств к существованию.

Устрицы и шампанское оставим на совести мемуаристки. Мать с детьми бедствовали, все время переезжали в поисках дешевого жилья с места на место, голодали — это несомненно. Дункан пишет, что благодарна матери за музыку, постоянно звучавшую в доме, и нищету, потому что наслаждалась такой безграничной свободой, о которой даже не подозревают дети из благополучных буржуазных семей. Похвала голодной свободе звучит слишком уж восторженно — своих собственных детей танцовщица старалась растить в роскоши, холе и неге. Учеников тоже: известно, что деньги, заработанные на гастролях, Дункан тратила на обустройство своих танцевальных школ — и в благополучном Грюневальде, и в постреволюционной России ей важно было, чтобы дети впитывали ее философию движения в красивых интерьерах, чтобы они были сыты и здоровы. Виллу в Грюневальде Дункан обставила в греческом духе, а учеников фактически содержала. То же было и в СССР — ей приводили детей, чтобы спасти их от голодной смерти.

Отцом ее первого ребенка, дочери Дейдре, которую танцовщица родила в 29-летнем возрасте, был Гордон Крэг — режиссер-реформатор и великий сценограф, как его называла склонная к экзальтации влюбленная женщина. Этот роман длился почти четыре года и был основан не только на страсти, но и на общности интересов. Крэг восхищался Айседорой и ценил ее высоко: «Она была предтечей... Она выпустила танец в наш мир в твердой уверенности, что творит великое и истинное... Стоило лишь увидеть ее танец, как мысли уносились ввысь, словно с приливом свежего воздуха».

Следует отметить, что идеалы свободы, которые без усталости проповедует Дункан, также идут вразрез с традиционными понятиями о приличиях: ни один ее любовник не стал ее мужем (исключение составил лишь Сергей Есенин), и все ее дети появились на свет вне брака и от разных мужчин. (Третьего ребенка, умершего в младенчестве, она родила после трагической гибели сына и дочери, буквально попросив первого встречного «подарить ей ребенка».)



Дункан умела учиться и извлекать уроки даже, казалось бы, из абсолютно внедидактических ситуаций. Пережив очень тяжелые роды, она поклялась, что больше такого варварства не допустит. Ее второго ребенка, сына Патрика, отцом которого был наследник империи Зингеров, принимал опытный врач, применявший анестезию. Дункан во всеуслышание заявила, что современная женщина не должна рожать в муках — вызов христианской морали и совершенно революционная по тем временам декларация. Самой Айседоре было несложно следовать декларации благодаря деньгам Париса Юджина Зингера, которого она в мемуарах называет добрым рыцарем, спасителем и Лоэнгрином. Дети, пишет Дункан, сделали ее по-настоящему счастливой, а ее тело совершенным. Самые трогательные и проникновенные строки в мемуарах танцовщицы посвящены детям и радостям материнства. Но эта радость была недолгой: в 1913 году в Париже сын и дочь вместе с няней погибли в автокатастрофе.

Источник ритма — биение сердца

Российские гастролеры Айседоры Дункан в начале XX века взбудоражили общество не только непривычным видом танцовщицы, ее философия танца оказалась весьма плодотворной для исканий русской художественной мысли. Поэты Серебряного века вписывали ее искусство в свою эстетику и восторгались умением передать движением музыку, аплодировали чувственности ее танцев и ее наготы. Максимилиан Волошин, автор первой в русской прессе рецензии на выступление Дункан, заявлял, что она «танцует все то, что другие люди говорят, поют, пишут, играют и рисуют. <...> Музыка претворяется в ней и исходит от нее». Рецензент увидел в ее танцах глубокий поэтический и философский смысл, почти отправление религиозного культа: «Ничто не может так потрясти душу, как танец... Танец — это самое высокое из искусств, потому что он восходит до самых первоисточников ритма, заключенных в пульсации человеческого сердца».

Еще дальше в восторгах пошел Андрей Белый: «Она — о несказанном. В ее улыбке была заря. В движениях тела — аромат зеленого луга. Складки туники, точно журча, бились пенными струями, когда отдавалась она пляске вольной и чистой». Тонкий, широко образованный историк культуры, философ, эссеист и пропагандист эстетики модернизма, критик Аким Волынский писал о танце Дункан как о «перевоплощении музыки в зрительное впечатление».

Выступления танцовщицы, вызывавшие восторг у одних, раздражали других. Нельзя сказать, что видевшие в ней только полуголую даму, без всякого смысла скакавшую по сцене, были невежественные дикари, нечувствительные к красоте. Знаменитый дирижер Александр Зилоти называл танцы Айседоры примитивными и не находил никакого соответствия между музыкой и движениями: «Она то поднимала руки кверху, то вдруг как будто искала потерянную на полу бумажку... И вдруг г-жа Дункан начала танцевать не то какой-то канкан, не то «козлом» по сцене бегать». Рисунок ее танца был прост, даже простоват. Известно, что академическую школу, изнурительные балетные классы, не говоря уж о балетной «выворотности» ноги и пуантах, она с негодованием отвергала. Ее целью было найти «источник духовного выражения». Впрочем, когда Дункан теоретизирует, ее уносит в такие заоблачные дали, что достучаться до внятного смысла довольно затруднительно. «Источник духовного выражения», который Айседора нашла в своей душе, непременно был обязан «пролиться в телесные каналы, наполняя их вибрирующим светом». «Вибрация», «свет», «душа», «зеркало», «волны», «ветер», «Вселенная», «воля» — весь этот джентльменский набор символизма непременно присутствует в ее текстах, посвященных танцу.

Никаких изысканных или специальных средств выразительности в арсенале танцовщицы не было: шаг, легкий бег, невысокие прыжки, свободные батманы с незначительным подъемом ноги, выразительные позы и жестикуляция. Сильное впечатление создавали она сама, ее совершенное тело (полупрозрачная развевающаяся туника ничего не скрывала), свет и прекрасная музыка — Брамс, Глюк, Шуман, Шуберт, Мендельсон и, конечно, Шопен, которого в детстве так много играла мать. Все современники отмечают также, что был какой-то особый магнетизм в ее движениях. Вот как описывает первую встречу с артисткой ее переводчица и секретарь, наблюдательная и умная Лола Кинел: «Полная, средних лет женщина в неглиже цвета семги грациозно полулежала на кушетке. У нее была маленькая головка с тициановскими кудрями, красивый, но жестокий рот и сентиментальные глаза; при разговоре она проглатывала или комкала слова. Когда она поднялась и стала двигаться по комнате, я увидела, что она вовсе не полная и не средних лет: она была прекрасна, непостижимая природная грация сквозила в каждом ее движении...»

Свое собственное призвание Дункан почувствовала очень рано, начав танцевать раньше, чем ходить: «Когда меня ставили в детской распашонке на середину стола, я танцевала под всякую мелодию, которую мне играли, и служила забавой всей семье и друзьям».

Маленькая Дора (звучную Айседору она придумала, когда начала выступать на светских вечеринках) в детстве с восторгом внимала игре матери и первые музыкальные впечатления пыталась передать в движении: «Ребенком я выражала в танце порывистую радость роста; подростком — радость, переходящую в страх при первом ощущении подводных течений, страх безжалостной жестокости и уничтожающего поступательного хода жизни». А уже в шестилетнем возрасте Дора собирала соседских детей и учила их импровизировать под музыку — так родилась идея ее школ.

Искусство Дункан продолжения не имело и закончилось с ее смертью. У нее были ученицы (она организовывала танцевальные школы в Америке, Германии, Франции, Греции, России), были подражатели и последователи, но нет самой Айседоры. Если пианист неважно сыграет этюд Шопена, публика все же услышит музыку композитора. Плохо же исполнить танец Дункан невозможно — его просто не будет. Трагедия Дункан — и ее уникальность — как раз в том, что смыслообразующим элементом ее творчества была она сама, ее личность. И, значит, продолжения быть не может.

Золотая голова

2 мая 1922 года в Хамовническом загсе Москвы состоялось бракосочетание Сергея Есенина и Айседоры Дункан. Ему было 27 лет, ей — 45. Новобрачные выразили желание носить двойную фамилию Дункан-Есенин. Выходя из загса, Есенин радостно воскликнул: «Теперь я — Дункан». За полгода до этого, осенью 1921-го, Айседора, называвшая себя «красной» и «марксисткой», получила приглашение от советского правительства и обещание государственной поддержки танцевальной школы, которую намеревалась создать для детей рабочих и крестьян новой России. В «Рабочей Москве» было помещено объявление об открытии «школы Айседоры Дункан для детей обоего пола в возрасте от 4 до 10 лет».

Постаревшая танцовщица в ореоле всемирной славы еще вызывает любопытство, но прежнего восторга уже нет. Критики отмечают обеднение и без того скудного танцевального лексикона, пишут, что Дункан занимается чем угодно — пантомимой, монодрамой, — но не танцем.

Той же осенью в студии художника Георгия Якулова происходит ее встреча с Сергеем Есениным, описанная Анатолием Мариенгофом в «Романе без вранья»: «Она обвела комнату глазами, похожими на блюда из синего фаянса, и остановила их на Есенине. Маленький, нежный рот ему улыбнулся. Изадора легла на диван, а Есенин у ее ног. Она окунула руку в его кудри и сказала: *Solotaia golova!*

Было неожиданно, что она, знающая не больше десятка русских слов, знала именно эти два. Потом поцеловала его в губы. И вторично ее рот, маленький и красный, как ранка от пули, приятно изломал русские буквы: *Anguel!*

Поцеловала еще раз и сказала: *Tschort!*

В четвертом часу утра Изадора Дункан и Есенин уехали». Со слов Дункан эту встречу описывает Мэри Дести: «...она до самой смерти говорила, что помнит, как его голубые глаза смотрели в ее глаза и как у нее появилось единственное чувство — укачать его, чтобы он отдохнул, ее маленький золотоволосый ребенок».

Это трогательное чувство совсем не волновало современников, сочинявших эпиграммы на Есенина с Айседорой, осмеивающих их мезальянс («Есенина куда вознес аэроплан? В Афины древние, к развалинам Дункан»), Дункан стала «Дунькой-коммунисткой», да и сам счастливый влюбленный был счастлив совсем недолго.

Неаппетитные подробности этого союза, пьяные выходки, бунт и загулы поэта, скандалы в рамках «имажинистского проекта», двусмысленную роль Дункан, терпеливо сносившей унижения и все прощавшей молодому мужу, сладострастно пересказывали все мемуаристы и все сплетники Москвы и русского зарубежья.

Поэтесса Наталья Крандиевская-Толстая пишет в воспоминаниях, что «отношение Дункан ко всему русскому было подозрительно восторженным. Порой казалось: эта пресыщенная, утомленная славой женщина не воспринимает ли и Россию, и революцию, и любовь

Есенина, как злой аперитив, как огненную приправу к последнему блюду на жизненном пиру? Ей было лет 45. Она была еще хороша, но в отношениях ее к Есенину уже чувствовалась трагическая алчность последнего чувства». 10 мая 1922 года молодожены вылетели в Германию. Айседору ждали гастроли в Европе и Америке, Есенин мечтал покорить своими стихами мир, однако очень быстро Европа ему наскучила, а невнимание к нему публики поэт счел оскорбительным. Писатель Глеб Алексеев, пришедший на встречу Есенина с эмигрантской аудиторией в берлинском Доме искусств, в гротескных тонах описывает явление пары народу: «Женщина в фиолетовых волосах, в маске-лице — свидетеле отчаянной борьбы человека с жизнью. <...> И рядом мальчонка в вихорках, ловкий парнишка из московского трактира Палкина с чижками под потолком, увертливый и насторожившийся. Бабушка, отшумевшая большую жизнь, снисходительная к проказам, и внук — мальчишка-сорванец». Заграничное турне не вышло. Американский импресарио Дункан Соломон Юрок был недоволен ее выступлениями, публики приходило все меньше, сборы падали, к тому же, по выражению Юрока, Айседора танцевала одновременно «распущенно и равнодушно». Английский славист Гордон Маквей пишет, что в отличие от праздничной и шумной атмосферы приезда Есенина и Дункан в Америку на их проводы почти никто не пришел, не прислал цветов... В феврале 1923 года Есенин и Дункан на пароходе «Джордж Вашингтон» отбыли в Старый Свет. «Эту большевистскую шлюху, которая носит недостаточно одежды, костыль ей вместо подстилки... я бы послал назад в Россию...» — такими словами популярного протестантского проповедника Билли Санди проводила Америка свою знаменитую Айседору. Та в долгу не осталась и заявила репортерам нью-йоркских газет: «Материализм — проклятие Америки. Последний раз вы видите меня... Лучше я буду жить в России на черном хлебе и водке, чем здесь в лучших отелях. Вы ничего не знаете о любви, о пище духовной и об искусстве!»

«Иду к славе»

Переводчица Лола Кинел отмечает в своих мемуарах, что из всех средств передвижения Айседора предпочитала автомобили. Это так шикарно — мчащаяся машина, и в ней красивая женщина с трепещущим на ветру алым шарфом! Шарфы, как и скорость, были ее страстью, с ними она танцевала свои самые знаменитые композиции. И так получилось, что 14 сентября 1927 года шарф сделался для нее удавкой, а автомобиль в одно мгновение затянул эту удавку на шею.

Многие современники описывали эту смерть, такую театральную, во вкусе Айседоры. Журналист Илья Шнейдер, правда, называет злополучный шарф шалью: «Айседора спустилась на улицу, где ее ожидала маленькая гоночная машина, шутила и, закинув на плечо конец красной шали с распластавшейся желтой птицей, прощально махнула рукой и, улыбаясь, произнесла последние в своей жизни слова... Красная шаль с распластавшейся птицей и голубыми китайскими астрами спустилась с плеча Айседоры, скользнула за борт машины, тихонько лизнула сухую вращающуюся резину колеса. И вдруг, вмотавшись в колесо, грубо рванула Айседору за горло».

Она как-то сказала: «Весь рай на земле. И весь ад тоже». Земной ад Дункан закончился, а есть ли рай небесный, неизвестно. Возможно, это слава. Ведь ее последними словами были: «Прощайте, друзья, я иду к славе!»



**Наш современник
2015 №10**

Голубева Л. Шукшин - Есенин в прозе



1510-24.pdf

**Наш современник
2010 №12**

Куняев С. Есенин и «Альфреды»



1012-29.pdf

**Наш современник
2015 №10**

Курдаков Е. Мифологическая тайна поэта



1510-25.pdf

**Наш современник
2015 №10**

**Мешков В. Сергей Есенин и Михаил
Булгаков**



1510-23.pdf

ЛЮДМИЛА ГОЛУБЕВА

ШУКШИН — ЕСЕНИН В ПРОЗЕ

Есенинские традиции в творчестве В. М. Шукшина

...Есенин — поэт мировой трагедии, экзистенциально-глубочайший, с чистой душой. Когда ничего нет у человека — одна душа осталась и все тело — душа, сплошная ранимость. Как вот и Шукшин потом таков: вздрагивающий каждой артерией и нервом пёс.

Г. Гачев. Встреча с Есениным
в Солотче

Не так уж много в русской литературе писательских имен, разительно совпадающих по нравственным, художественно-эстетическим воззрениям, а также по тематике в своём творчестве, как В. М. Шукшин и С. А. Есенин.

Есенин для Шукшина всегда был “знаковой” фигурой в духовной жизни России. Об этом свидетельствуют его многочисленные высказывания в публицистических статьях, это нашло яркое выражение в его художественном творчестве.

Сам Шукшин так выразил свое отношение к Есенину: “Любимый мною Сергей Есенин — он тоже из крестьян, тоже от “сохи”, но он — поэт далеко не крестьянский, а общенародный, потому что он, играя на своей берёзовой мужицкой лире, сумел затронуть её звуками душу каждого — от самого простого мужика до суперинтеллекта. А удалось ему добиться этого тем, что лира его издавала звук вечной общечеловеческой правды”.

И Шукшин желал “каждому литератору иметь на земле своё Константиново”.

Для Шукшина его “малая родина”, его “Константиново” — это родное село Сростки, которое щедро питало его творчество и темами, и образами, и горькими раздумьями.

Поэзия Есенина, его образ сопутствовали Шукшину всю его жизнь. Знавший Шукшина Лев Колодный вспоминает такую любопытную деталь. Когда Шукшин впервые получил московскую квартиру в Свиблово, он первым делом в своём совершенно пустом жилище “швейной иглой к стене” приколол “портрет Сергея Есенина с курительной трубкой во рту”.

Крестьянский сын Есенин называл себя “последним поэтом деревни” и всю свою короткую жизнь воспевал свою “краткую родину”:

*Край любимый! Сердцу снятся
Скирды солнца в водах лонных.
Я хотел бы затеряться
В зеленях твоих стозвонных.*

Шукшин, как и Есенин “гражданин села”, “сельский житель”. “Я родом из деревни, крестьянин потомственный, традиционный”, – говорит он о себе. Его, как и Есенина, многие критики называли “поэтом деревни”.

В русском крестьянстве, по мнению Шукшина, во многих чертах воплотилась “та большая совестливость нашего народа, его неподдельное чувство прекрасного, которые не позволили забыть древнюю простую красоту храма, душевную песню, икону, Есенина, милого Ваньку-дурачка из сказки”. И как тут не вспомнить Есенина, который любил “Слушать бабушкины сказки / Про Ивана-дурака”.

Шукшин выводит целую галерею “сельских жителей”: “Ванек-дурачков”, “чудиков” – доверчивых, простодушных, незащищенных. Таков “чудик” Василий Егорыч Князев из рассказа “Чудик”. (Кстати, один из эпизодов этого рассказа – история с потерянной пятидесятирублёвкой – носит биографический характер.) Это и Бронька Пупков из рассказа “Миль пардон, мадам”, сложивший невероятную историю о его якобы неудавшемся покушении на Гитлера, и Мона Квасов, “изобретший” вечный двигатель (“Упорный”), и маляр-шабашник Малафейкин (“Генерал Малафейкин”), выдумавший для себя генеральскую биографию с почестями, орденами, персоналками. Или Ванька Тепляшин, затеявший несуразный скандал в больнице (“Ванька Тепляшин”). Вначале этот рассказ назывался “Ванька-дурак”. И Стёпка из рассказа “Стёпка”, затосковавший о родной деревне и сбежавший из тюрьмы до срока, хотя его срок уже практически заканчивался. О нём Шукшин пишет: “Я такого дурака люблю. Могуч и властен зов родины, откликнулась русская душа на этот зов – и он пошёл”.

Но этим “чудикам” присуще и чувство прекрасного. Многим героям Шукшина знакома и близка поэзия Есенина. И они то цитируют есенинские строки, то распевают песни на слова Есенина. Так, в рассказе “Верую” деревенский поп поёт о “клёне заледенелом”, бежавший из тюрьмы Стёпка с чувством “декламирует” “Ты меня не любишь, не жалеешь”. Есенинские стихи неоднократно звучат в устах героя киноповести “Калина красная” Егора Прокудина.

Но не все персонажи в рассказах Шукшина безобидные “чудики”. Они могут быть и там, где, говоря есенинскими словами, “пьют, дерутся и плачут”. Это уголовник Стёпка, деревенский вор Лёся, Егор Прокудин из повести и фильма “Калина красная” и др.

Шукшин сострадает своим “заплутавшим” героям, оторвавшимся от своей родной почвы, жалеет об их исковерканной судьбе. Ему, как и Есенину, жалко “тех дурашливых, юных, / Что сгубили свою жизнь сгоряча”.

Но любя и сострадая своим героям – “сельским жителям”, Шукшин не идеализирует их, а стремится воссоздать их предельно правдивый образ. “Корявыми немытыми речами они свою обсуживают “жись”. Они одновременно добрые и злые, щедрые и жадные, мудрые и глупые.

Шукшин с горечью наблюдает, как некоторые выходцы из деревни воспринимают только внешние приметы городской культуры: модную одежду, причёску, современные западные танцы. Но в то же время ему больно, когда горожане высмеивают его земляков за неусвоение городского манера, за неуклюжее поведение. И здесь мы вновь улавливаем переключку с Есениным:

*Город, город, ты в схватке жестокой
Окрестил нас как падаль и мразь.*

Но было бы несправедливо считать, что Шукшин непримиримо отрицает город, городскую культуру. Нет, для него: “Город – это и тихий домик Циолковского, где Труд не искал славы. Город – это где огромные дома, и в домах книги, и там торжественно тихо. Город – это заводы, и там своя странная чарующая прелесть машин”.

И Есенин при всей его привязанности к деревне признается, что и город близок ему. Вспомним его строки, посвящённые Москве:

*Я люблю этот город вязевый,
Пусть обрюзг он и пусть одрях.
Золотая дремотная Азия
Опочила на куполах.*

Шукшин болезненно переживал состояние некоторой своей “двойственности”. Уехав из деревни и став городским жителем, признавался, что он “...ни городской до конца, ни деревенский уже”. И своё состояние он объяснял так: “...одна нога на берегу, другая в лодке”. Эти слова соотносятся с есенинским признанием: “Стремясь догнать стальную рать, / Скольжу и падаю другою”.

Это состояние человека, оторвавшегося от родной почвы, Шукшин отразил в рассказе “Вечно недовольный Яковлев”. Бывший сельский житель Борис Яковлев, пожив в городе, “преобразился” и теперь считает, что имеет право высказывать своё презрение к “деревенскому быдлу”.

Образ родины – один из самых заветных для Шукшина и Есенина. Так Шукшин находит самые проникновенные слова, говоря о своём чувстве родины: “...Всю жизнь мою несу родину в душе, люблю её, жив ею, она придает мне силы, когда случается трудно и горько...”. И далее: “Родина... она и живет постоянно в сердце, и образ её светлый погаснет со мной вместе...”.

Родина и деревня сплавлены воедино и у шукшинских героев. Об этом его рассказы “Два письма”, “И разыгрались же кони в поле”, “Ваня, ты как здесь?!” и многие другие.

В этом Шукшин близок Есенину, у которого образ деревни неизменно сливается с понятием родины. Стоит ли перечислять стихи и поэмы Есенина о родине, ставшие уже хрестоматийными: “О, Родина!”, “Край любимый! Сердцу снятся...”, “Гой ты, Русь, моя родная...”, “Русь советская”, “Русь бесприютная”, “Русь уходящая” и др.

*Но люблю тебя, родина кроткая!
А за что — разгадать не могу.
Весела твоя радость короткая
Громкой песней весной на лугу.*

Описание природы у Шукшина порой воссоздано в чисто есенинской стилистике. Вот красноречивый фрагмент из эпиграфа к рассказу “И разыгрались же кони в поле”:

*Тихо в поле.
Устали кони...
Тихо в поле —
Зови не зови.
В сонном озере, как в иконе, —
Красный оклад зари.*

У Шукшина, как и у Есенина, природа очеловечена, он широко пользуется приемом антропоморфизма. Наглядный пример – описание ледохода: “Лед прошел по реке. Но ещё отдельные льдины, блестя на солнце, скребут скользкими животами каменистую дресву; а на изгибах речных льдины вылезают синими мордами на берег, разгребают гальку, разворачиваются и плывут дальше – умирать”. У Есенина примеров одушевления природы множество: “Отелившееся небо / Лижет красного телка”.

Герои Шукшина органически слиты с природой. Герой рассказа “Воскресная тоска” так передаёт это ощущение: “Я знаю, как бывает в степи ранним летним утром: зеленый тихий рассвет. В низинах легкий, как дыхание, туман. Тихо. Можно лечь лицом в пахучую влажную траву, обнять землю и слушать, как в её груди глубоко шевелится огромное сердце”.

Образ русской берёзки, так проникновенно воспетой Есениным, близок и Шукшину. В “Калине красной” Егор Прокудин в тяжёлый час ищет утешения, обнимая в слезах белоствольную березу, как живое существо, способное сопереживать.

Примечательно, что для Шукшина, как и для Есенина, характерна поэтизация крестьянского труда. Всё, что связано с природой, – прекрасно,

в частности, такое исконно крестьянское занятие, как покос. В рассказе “Земляки” читаем: “Нет милее работы-косьбы... Сочно посвистывая, сечёт коса; вздрагивает, никнет трава...”

В статье “Вот моя деревня...” Шукшин передает своё личное восприятие: “Покос. Самая прекрасная, самая трудная, самая певучая пора”. И сразу в памяти – Есенин:

*К чёрту я снимаю свой костюм английский.
Что же, дайте косу, я вам покажу —
Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий,
Памятью деревни я ль не дорожу?*

*Нипочем мне ямы, нипочем мне кочки.
Хорошо косою в утренний туман
Выводить по долам травяные строчки,
Чтобы их читали лошадь и баран.*

Разительно совпадает мироощущение Шукшина и Есенина, в том числе такая его составляющая, как любовь и сострадание к “братьям нашим меньшим”. Для Есенина все живые твари объединены понятием “родина”:

*О родина, счастливый
И неисходный час,
Нет лучше, нет красивей
Твоих коровьих глаз.*

Известно, что у Есенина есть целый цикл стихов, посвященных “братьям нашим меньшим” (“Корова”, “Табун”, “Песнь о собаке”, “Лисица”, “Собаке Качалова”, “Сукин сын”, “Лебёдушка” и др.). Невозможно перечислить всех представителей “крестьянской фауны”, к кому бы ни обращал Есенин своё радостное или сострадательное слово. Для него “есть везде родные сердцу куры”; он с восторгом погружается “в море голосов воробьиных”.

Герои Шукшина также полны сострадания к “братьям нашим меньшим”. Так, старик Никитич из рассказа “Охота жить” сурово осуждает браконьеров, для забавы отстреливающих таёжных обитателей: “За такие дела надо руки выдергивать. Убил ты её, медведицу, а у ей двое маленьких. Подохнут. Бес-толковое дело — душу на зверье тешить”.

А с каким отчаянием спасают сельчане погибающих коров, единственных кормилиц в голодные послевоенные годы (“Земляки”). Или, например, детские воспоминания Ивана Попова о своей голодающей деревенской корове Райке в те же тяжкие годы, когда ему с чувством “нестерпимой боли” приходится “видеть её, понурую, всю в инее, с печальными глазами”.

Страстно тоскует о своём жеребце Буяне сельский житель Минька, живя в городе: “Минька представил Буяна, гордого вороного жеребца, и как-то тревожно, тихонько, сладко зануло сердце. Увидел он, как далеко-далеко, в степи, растрепав по ветру косматую гриву, носится в косяке полудикий красавец конь”. Как это созвучно есенинскому стихотворению “Табун”! И подобные примеры можно множить бесконечно.

Пронзительно воспета Есениным материнская любовь, её жертвенность, её всепрощение. Широко известны его стихи на эту тему: “Матушка в Купальницу по лесу ходила...”, “Письмо матери”, “Письмо от матери”, “Разбуди меня завтра рано...”, “Молитва матери” и др.

Светлый образ матери Шукшин, как и Есенин, пронес через всю жизнь, он глубоко чувствовал нерасторжимую с нею кровную связь. Теме материнской любви посвящен целый ряд его рассказов.

Материнское горе неизменно вызывает чувство сострадания у шукшинских героев. В рассказе “В воскресенье мать-старушка” жители деревни толпой собираются вокруг своего односельчанина Гани и со слезами на глазах слушают его жалостливые песни о несчастной старенькой матери, у которой сын сидит в тюрьме. Передачу для него у неё не принимают, и она узнаёт, что он: “Прошлой ночью был расстрелян / И отправлен на тот свет”.

Та же тема в рассказе “Материнское сердце”, где мать Митьки Борзенкова пытается самоотверженно, но неумело защитить своего непутевого сына:

“Материнское сердце, оно – мудрое, но там, где замыачила беда родному дитю, мать неспособна воспринимать посторонний разум”.

Герой “Калины красной” Егор Прокудин, на долгие годы оставивший мать без заботы и попечения, а потом посетив её, с ужасом осознает свой тяжкий грех, за который нет ему оправдания.

О материнской любви и одиночестве – рассказ “Письмо”. Особо стоит отметить рассказ “Сны матери”, содержание которого, по сути, автобиографично. В нем Шукшин пересказывает сновидения своей матери, порой провидческие. Описание снов переплетаются с эпизодами жизни всей семьи.

Герои Шукшина не только смиренные “чудики”. В крестьянской среде писатель видит неукротимых бунтарей, стремящихся жить по своей воле. Таков деревенский разбойник Лёся (“Лёся”), бедовый Спирька Расторгуев, прошедший фронт и тюрьму (“Сураз”), Стёпка, бежавший из заключения до срока (“Стёпка”), рецидивист Егор Прокудин (“Калина красная”).

Не будет преувеличением сказать, что роман Шукшина “Я пришёл дать вам волю” о Степане Разине написан под впечатлением от поэмы Есенина “Пугачёв”. Об этом имеется ряд свидетельств. Так, близкая знакомая Шукшина О. М. Румянцева вспоминает, какое сильное впечатление произвёл на него записанный на пластинке монолог Хлопуши из поэмы “Пугачев” в исполнении Есенина, который Шукшин прослушал, обливаясь слезами.

Обращаясь к страницам русской истории, Есенин и Шукшин избирают в качестве главных героев один и тот же тип людей – поборников за права народные. Они оба особо выделяли эти произведения в своём творчестве. О своём “Пугачёве” Есенин с гордостью говорил, что “это действительно революционная вещь”. Приведём и слова Шукшина о его любимом герое: “Разин для меня – вся жизнь”.

При создании произведения о Разине Шукшин практически проделал тот же путь, что и Есенин в работе над “Пугачёвым”: замысел – собирание народных легенд и преданий – изучение огромного архивного и научно-исследовательского материала – поездка по тем местам, где разворачивались события, связанные с восстанием Разина. Поездки Есенина “от песков Джигильды до Алатыря”, в оренбургские степи, дали ему возможность достаточно точно воспроизвести географию событий.

Многое объединяет Шукшина с Есениным в воссоздании образов народных заступников. Разин, как и Пугачёв, полон сострадательной любви к простому народу. У Есенина – “Яик, Яик, ты меня звал стоном придавленной черни”. Для Разина: “Мне кто обижен, тот свой”. И это сострадание как бы перелито из сердца создателей этих образов. Примечательно в этом отношении высказывание В. И. Вольпина, писавшего о есенинском Пугачёве: “... Сам поэт переживает трагедию, может быть, не менее большую по масштабу, чем его герой”.

Глубоко впечатляет в связи с этим воспоминание жены Шукшина – Л. Н. Федосеевой-Шукшиной. Когда Шукшин дописывал последние страницы романа “Я пришел дать вам волю”, он попросил Лидию Николаевну: “Ты сегодня не ложись, пока я не закончу казнь Стеньки... Я чего-то боюсь, как бы чего со мной не случилось...” Лидия Николаевна, уставшая от домашних дел, часам к двум ночи сама не заметила, как заснула. Пробудилась же в половине пятого от громких рыданий: с Василием Макаровичем была нервная истерика, сквозь стенания едва можно было разобрать слова: “Тако-о-го... мужика... погу-у-били-ли... сволочи”.

Для обоих писателей их любимые герои – Разин и Пугачёв – не были просто стихийными, необузданными бунтарями. Пугачёв – талантливый, дальновидный военачальник, одержавший неоднократные победы над царскими войсками. Сам Есенин, по воспоминаниям И. Н. Розанова, говорил о своем Пугачёве: “... Он был почти гениальным человеком...”. А Шукшин так характеризует Разина: “... Человек осторожный, хитрый, умный дипломат, крайне любознательный и предприимчивый”.

Шукшин, как и Есенин, не наделяет своего героя ореолом праведника. Пугачёв с горечью признается: “Долгие, долгие тяжкие года / Я учил в себе разуму зверя...”

А Шукшин о своем герое: “... Разин не был агнец с цветком в руке, рука его держала оружие и несла смерть”. Он стремится объяснить вынужденную жестокость народных вождей: “Если этот день свободы на Руси занимался в кровавое утро, то как же отнять у него жестокость?”

Разин и Пугачёв – трагические фигуры русской истории. Их борьба за поправную “чернь” куплена большой и порой несправедливой кровью. Об этой сущности народного повстанческого движения и роли их вождей убедительно сказано в статье Сергея Куняева, посвящённой анализу образа Пугачёва. В нём “трагически обнажились потаённые глубины человеческой природы – светлые, гуманистические начала и тёмные, звериные, идущие от первобытных инстинктов. Борьба за свободу, за лучшую жизнь была сопряжена с убийствами и кровью...”

Разин, как и Пугачёв, натура мятущаяся, сотканная из противоречий. Он совершает хождение в Соловки на богомолье, то “самолично ломает через колена руки монахам и хулит церковь”.

У обоих писателей в их героях мучительно сопряжены два противостоящих полюса человеческой личности: добро и зло. Пугачёва мучает то, что он выдаёт себя за императора Петра III; Разина – что он распространяет слух о том, что его повстанческое войско сопровождают патриарх Никон (хотя тот находится в это время в ссылке в Феропонтовом монастыре) и царевич Алексей Алексеевич (которого уже нет в живых).

Разин признаётся: “...Ноша проклятая – постоянная дума втихомолку, неотступная, изнуряющая...”. Скорбит Пугачёв, не вынося тяжести чужого имени:

*Тяжко, тяжко моей голове
Опушать себя чуждым именем.
<...>
Знайте, в мёртвое имя влезть —
То же, что в гроб смердящий.*

Но помимо железной воли, Есенин и Шукшин наделяют своих героев теплыми человеческими чертами. Им присуще лирическое восприятие родной природы. Пугачёв признаётся: “Мне нравится запах травы, холодом подожжённой, / И сентябрьского листопада протяжный свист”. Или: “Я умею, на сутки и версты не трогаясь, / слушать бег ветра и твари шаг, / Оттого, что в груди у меня, как в берлоге, / Ворочается зверёньшим тёплым душой”.

У Шукшина в романе “Я пришёл дать вам волю” есть целый ряд эпизодов, где Разин, как бы растворяясь в родной природе, испытывает состояние блаженства и покоя: “Солнце медленно погружалось за степью – можно даже глазом заметить, как оно уходит всё глубже и глубже. Невысокий обрыв того берега реки обозначился чёрным. Зато вся степь, от реки до солнца, далёкие курганы и близкий кустарничек, всё высветилось ласковым желтым светом, как горенка, где горит мытый, скобленный и ещё раз мытый сосновый пол. Глаз человеческий должен был отдохнуть после беспощадного дневного света, душа человеческая должна успокоиться от скверны малых дневных дел, разум должен породить мысль, что на земле на этой хорошо бы жить босиком, в просторной рубахе, – шагать по ней и шагать из конца в конец, – своя она, мы родились тут. И даже ложиться в неё не так уж страшно. Что-то такое – похожее – успел подумать Степан, заглядевшись на уходящее солнце”.

Есенин жил и творил на переломе двух эпох. В детстве он был воспитан в православном духе родителями и учителями церковной Спас-Клепиковской школы. После Октябрьской революции при наступлении атеистического времени Есенин пытается уверовать в новые идеалы, отрешиться от былых религиозных предстаний, привитых ему в детские годы. Он до конца своих дней жил в мучительных метаниях от веры к безверию и опять к вере: “Стыдно мне, что я в Бога верил, / Горько мне, что не верю теперь”.

Что касается Шукшина, то эта тема практически не затрагивалась в исследованиях его творчества. Шукшин – человек другой эпохи, коммунист, но как же сильна была в нём тяга к высшей духовности! Он заявляет, что для него понятие родина, “совестливость нашего народа, его неподдельное чувство прекрасного” сочетается с “древней простой красотой храма”, “иконой”, и “Есениным”.

Был ли Шукшин истинно верующим, трудно сказать, но близкие друзья вспоминали, что он всегда носил с собой металлическую обложку из церковной книги, где был изображен Иисус Христос. По словам доцента режиссерского факультета И. А. Жигалко, в обширном кругу чтения Шукшина была

и Библия. Сам Шукшин вспоминал, что когда он выдавал замуж сестру, ему очень хотелось, чтобы был соблюден церковный обряд, но он опасался, что его “вызовут потом на бюро и всыплот”. Он признавался, что много размышлял о том, “в чём же жизнестойкость образа Христа, если он работает столько времени”.

Взыскуют Бога как высшее духовное начало и герои Шукшина. Они порой мечутся в непонятной тоске, мучительно осозная душевную пустоту. Герой рассказа “Верую” Максим Яриков, не выдержав душевной маеты, бросается за утешением к деревенскому попу. Тот весьма своеобразно объясняет ему, что есть Бог: “Что такое Христос? Это воплощенное добро, призванное уничтожить зло на земле. Две тыщи лет он присутствует среди людей как идея – борется со злом. Две тыщи лет именем Христа уничтожается на земле зло, но конца этому не предвидится”. И заключает: “...Бог есть. Имя ему – Жизнь. В этого Бога я верю. Это – суровый, могучий Бог. Он предлагает добро и зло, вместе – это, собственно, и есть рай”.

Примечательно, что в этом контексте священник вспоминает и Есенина: “Вот жалеют: Есенин мало прожил. Ровно – с песню. Будь она, эта песня, длинней, она не была бы такой щемящей”.

Мается от душевной пустоты и другой герой Шукшина: Тимофей Худяков из рассказа “Билетик на другой сеанс”, и причину своей тоски он объясняет так: “Не верим больше – вот и тоска. В боженьку перестали верить, вот она и навалилась, матушка. Церкви позакрывали, матерщинничаем, блудим...”

Вопрос веры – довольная частая тема споров среди односельчан. В рассказе “Гена Пройдисвет” происходит ожесточенная дискуссия, перерастающая в драку между Генкой и его дядей Гришей, вдруг страстно уверовавшим в Бога.

Старинные сельские храмы пробуждают в сердцах героев Шукшина жалость и страдание при виде их медленного разрушения. Так, Сёмка Рысь из рассказа “Мастер”, любясь красотой старинной “церкви белой, изящной, легкой”, загорается желанием восстановить её в былом великолепии и безуспешно пытается найти поддержку у местного начальства.

А как негодуют герои Шукшина, когда сносится “на кирпич” местная церковь, в которой когда-то “отпевали усопших дедов и прадедов”, а “люди постарше все крещены в ней” (“Крепкий мужик”).

Известно, что Есенин после свершения Октябрьской революции искренне пытался понять и уверовать в новые идеалы. Но постепенно осмысляя происходящее, он не всё начинает принимать в современной действительности и испытывает определенное разочарование. Так, в письме к Е. И. Лившиц от 11 августа 1920 года он размышляет: “Мне очень грустно сейчас, что история переживает тяжёлую эпоху умерщвления личности... Ведь идет совершенно не тот социализм, о котором я думал...”. Есенин никогда не хотел быть “казённым”, “официозным” поэтом. А. К. Воронскому в одной из бесед он сказал: “Намордник я не позволю надеть на себя и под дудочку петь не буду”.

Шукшин тоже никогда не стремился “петь под дудочку”. Он заявляет: “Как художник я не могу обманывать свой народ – показывать жизнь только счастливой... Правда бывает и горькой”. Он восставал против образов “сусальных” казённо-положительных героев, насаждавшихся в советском кино и литературе. “В духовной жизни ущерб народу такими вот лазутчиками из мира лжи, угодничества наносится страшный”.

В то же время В. М. Шукшин не был “демонстративным диссидентом”, ориентирующимся на западную демократию. Ему были дороги нравственные устои, выработанные за столетия русским народом, и он мечтал, чтобы они полностью восторжествовали в современной ему жизни. Доказательство тому – всё его творчество.

В последнее время “либеральный агитпроп”, центр которого сосредоточен на отечественном телевидении, взялся за разработку ключевых тем, связанных с отечественной историей — как советской, так и досоветской. Эта разработка воплотилась в серии проектов, направленных на пересмотр основных исторических вех России: “проект Иван Грозный”, “проект Григорий Распутин”, “проект Сталин”, “проект Советская цивилизация”, “проект Великая Отечественная война”. По существу, и сама программа “Суд времени”, идущая на петербургском канале, замыслена как суд над всей историей России, чему немало способствует и позиция “судьи” — Николая Сванидзе, больше напоминающего средневекового инквизитора, который, вопреки всем правилам судейской практики, регулярно позволяет себе иметь “личное мнение” сузубо либерального характера. Другое дело, что все попытки “осудить” советскую цивилизацию, советского человека как “антропологическую катастрофу”, индустриализацию и Великую Отечественную войну как предприятия, “не стоившие таких жертв”, были обречены на провал (что подтвердило и зрительское голосование) подобно тому, как с треском провалился “суд над КПСС” в 1992 году, ставший подлинным позорищем для либералов, захвативших власть.

К подобным “проектам” относится и так называемый “проект Есенин”, воплотившийся в телевизионном варианте в известном сериале, а в книжном — в “Биографии” поэта, вышедшей в серии “Вита Нова”. И фигура Есенина здесь крайне характерна как фигура, связующая дореволюционную Россию с революционной, сама собой обеспечивающая преемственность времен. В частности, это подтвердилось массовым рукописным распространением его поэзии в годы, когда больше ни один поэт не распространялся в списках в таком количестве, в том числе и в годы Великой Отечественной.

Вот почему редакция сочла необходимым разобрать данный плод “либерального агитпропа” в книжном воплощении.

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

ЕСЕНИН И “АЛЬФРЕДЫ”

За последнее время в нашей литературной жизни выделился один эпизод, волей-неволей обративший на себя внимание.

Кажется, давным-давно игнорируются или, во всяком случае, не принимаются в серьезное внимание многочисленными авторами различных книг отрицательные рецензии на их продукцию. Расслоение, точнее, распад литературного процесса стал точным отражением распада самого общества — ни до кого никому нет дела. Каждый сидит в своей скорлупе, которая представляется самым надежным убежищем даже не от мировых бурь и циклонов — от простого дуновения отечественного ветра. Никаким убежищем, естественно, эта скорлупа быть не может, но слишком соблазнительно считать ее некоей “броней”.

Нашлись, однако, авторы, которые сочли для себя возможным скинуть эту “броню” — и дать письменный ответ на рецензию, напечатанную в “Литературной газете”. Я имею в виду доктора филологических наук Олега Андершановича Лекманова и кандидата филологических наук Михаила Игоревича Свердлова, которым очень не понравился отзыв доктора филологических на-

ук Натальи Игоревны Шубниковой-Гусевой на их книгу “Сергей Есенин. Биография” (см. “Литературная газета”, 4 февраля 2009). Казалось бы, что страшного в отрицательном впечатлении, сложившемся у специалиста с многолетним стажем по изучению биографии и творчества Есенина? Вокруг имени поэта кипели еще и не такие баталии... Но именно в наше время полного равнодушия всех ко всем и всему ретивое авторов “Биографии” загорелось, и они решили не просто ответить – нет, решили поучить Шубникову-Гусеву, как надо писать отрицательные рецензии.

В этой истории есть, на первый взгляд, немало комического. И отдание должного тем, “кто хвалит книгу за научную добросовестность” (именно в этом ракурсе авторы оценивают свой собственный труд). И указание на то, что “когда специалист выносит какой-либо работе отрицательный вердикт, не выходя за пределы здравого смысла... с ним можно соглашаться или спорить. Но как реагировать на заявления вроде – “черная биография Есенина”? Разве что плечами пожать”, при том, что это “пожатие плечами” растянулось у авторов почти что на 10 страниц журнального текста (“Новое литературное обозрение”, № 99, 2009). Заодно получается, что автор отрицательной рецензии на “Биографию” “вышел за пределы здравого смысла” – и о чем тут тогда вообще может быть спор? Но вышел, видимо, не до конца, на что ему педантично указывают О. Лекманов и М. Свердлов: “Занятная логика – с одной стороны, клеймить книгу последними словами, а с другой – указывать на обычные, как у людей, “ошибки”, “натяжки”, отсутствие новизны. Сказав “А”, тогда уж надо было говорить “Б” – и строго придерживаться славной традиции погрома и проработки”.

Для начала – никаких “последних слов” в рецензии Н. Шубниковой-Гусевой я не обнаружил, полагаю, что их можно было отыскать, лишь распалив свое богатое воображение. Впрочем, собственную “натяжку” в данном случае, как видно, тут же поняли и сами авторы. И очень пожалели, что не состоялось ничего подобного в духе “славной традиции погрома и проработки”. Это было бы для них, судя по тональности и содержанию их последнего выступления в “НЛО”, подобием манны небесной. И не потребовалось бы упоминать об “ошибках” и “натяжках”, “обычных, как у людей”, заключая эти слова в стыдливые кавычки, намекая тем самым читателю, что на самом-то деле никаких “ошибок” и “натяжек” в “Биографии”, конечно же, нет, ибо главное достоинство книги – пресловутая “научная добросовестность”.

Впрочем, говорить об авторской добросовестности я бы лично поостерегся. Ибо комический эффект, который создают такого рода содержательные пируэты, начинает улетучиваться, когда мы подходим к чисто прокурорской формулировке, к которой наши “добросовестные” авторы сводят весь смысл своего ответа: “... Есть ли хоть какая-то логика в этой алогичной статье? К сожалению, есть: все здесь подчинено логике редукации, пытающейся свести сложный и противоречивый материал к простейшим утверждениям и элементарным антитезам. Тенденция такого рода критики – примитивизация на всех уровнях, и в отрицании, и в утверждении” (курсив авторов “ответа”. – С. К.). Написать подобное об авторе книг “Поэмы Есенина. От “Пророка” до “Черного человека”, “Сергей Есенин и Галина Бениславская”, о составителе многочисленных томов воспоминаний о поэте, фундаментально и добросовестно откомментированных – значит, потерять некоторое представление о реальности и самим впасть в дурную тенденцию ведения разговора по принципу: “А ты кто такая?” И сведение претензий исследователя к “Биографии” к примитивизации на всех уровнях – авторов, мягко говоря, не красит. Впрочем, в подобном пассаже нет никакой случайности. Подтверждением тому послужит разговор об этой самой “Биографии”, получившей весьма богатую прессу, в которой преваляровали апологетические отзывы – в силу чего реакция авторов на чуть ли не единственную отрицательную, правда, достаточно жесткую рецензию выглядит несколько странной. Но как мы увидим, повторюсь, совершенно не случайной.

* * *

Мимо этого толстенного, роскошно оформленного тома, в самом деле, трудно было пройти. Биография Сергея Есенина, написанная Олегом Лекмановым и Михаилом Свердловым, одна из писательских биографий, вышедших

в серии, изданной Санкт-Петербургским издательством “Вита Нова”, снабжена многочисленными ссылками на самые разнообразные источники, обширной библиографией и богатым “Указателем упоминаемых лиц”. Во всем ощущается солидность, источниковедческая оснащенность, фундаментальный подход к судьбе и творчеству поэта. Привлекла внимание и фраза из преамбулы “от авторов”: “Теми, кто пишет о поэте, чаще всего движет читательская любовь, а не филологическая любознательность. Вот почему в работах о поэте анализ сплошь и рядом вытесняется апологетическим пафосом. За редкими исключениями есениноведы не могут или не хотят дистанцироваться от Есенина: они стремятся, вольно или невольно, не столько к исследованию есенинской биографии, сколько к защите и восхвалению “рязанского соловья” (с. 7).

Прочитав подобное, сразу настраиваешься на то, что сами авторы руководствуются в своем подходе не любовью к поэту, а “филологической любознательностью”. Приступают к исследованию, руководствуясь “анализом”, а не “восхвалением”, ибо не ставят себе целью “во что бы то ни стало обелить (или очернить) поэта в глазах читателя” (с. 8). Подход похвальный, если не считать сущей мелочи. Трудно себе представить книгу о поэте (любом), которая пишется без “читательской любви” к нему. Настораживает и еле заметный проговор: в первую очередь авторы стараются “не обелить” Есенина – глагол “не очернить” следует уже потом, между делом, в скобках. Да и сразу же уточнить хотелось бы – кто из есениноведов, по мнению О. Лекманова и М. Свердлова, “вытеснял анализ апологетическим пафосом”?

Уже в самом конце своего многостраничного исследования авторы с легкостью в мыслях необыкновенной, упоминая о шестидесятилетии Есенина, которое “справлялось уже как юбилей в полном смысле слова советского поэта”, пишут: “Так начался длительный период сусального официального есениноведения, суть и дух которого идеально передает, например, цитата из юбилейной речи Сергея Михалкова 1975 года” (с. 579). Далее следует сама цитата – не Бог весть что “передающая”, но, очевидно, необходимая авторам, ибо содержит в себе понятия, определено им не нравящиеся: “Огромная душевная широта и любовь к родной земле”, “активный патриотизм”... Однако, если отвлечься от индивидуальных вкусов и предпочтений и перейти к фактам – неизбежно придется задать вопрос: О. Лекманов и М. Свердлов в самом деле считают, что последующие годы были “длительным периодом сусального официального есениноведения”, в котором все появлявшиеся труды были выдержаны в тональности Сергея Михалкова? Может быть, именно клеймо “сусальности” стоит на книгах В. Г. Базанова, статьях В. В. Базанова, которые отсутствуют в приложенной к тому “избранной библиографии”, или статьях В. Вдовина, которые в ней упоминаются? Можно как угодно относиться к книге Аллы Марченко “Поэтический мир Есенина”, первое издание которой вышло в 1972 году (авторы предусмотрительно отмечают лишь переиздание 1989 года), но при всем желании невозможно узреть хоть малейший налет “сусальности” или “михалковщины” на этом исследовании. И это лишь первое, что вспоминается “с лету”.

Так в финале своего фолианта авторы фиксируют своеобразную “расчистку территории”, обозначая свой собственный приоритет. В начале же “беспристрастной” биографии О. Лекманов и М. Свердлов заранее оговаривают, что все восторги и инвективы передоверяют “мемуаристам и современному поэту критикам” (с. 8). Книга, в самом деле, большей своей частью состоит из цитат: критики и мемуаристы используются щедро, в объемных цитатах, сносках и сносках, а авторы, кажется, лишь воспроизводят всю разногласицу мнений и воспоминаний о поэте, сохраняя дистанцию. Дескать, вот вам мнение современника – а дальше думайте, как знаете, что тут правда, а что – нет.

Но в том-то и дело, что эта “отстраненность” лишь кажущаяся.

Среди мемуаристов, писавших о Есенине, большая часть людей едва ли понимала поэта, о чем недвусмысленно написала в свое время Анна Берзинь: “Мы видели, как он пьет, отводили его руку от стакана... а как он работает – не знали, даже не интересовались”. Для многих из них оказалась “не в указ” и хрестоматийная есенинская строчка: “Большое видится на расстоянии”. И “на расстоянии” писалось не меньше глупостей, чем “по горячим следам”.

Изображение поверхностью понятий поступков героя перемешалось со сплетнями, неотделимыми от фигуры любого более или менее известного человека. А уж когда речь идет о Есенине...

К миру и к людям он изначально шел открыто и честно, замыкался и грубил тогда, когда наталкивался на непонимание или, что чаще, нежелание понять, на человеческую тупость или злобу. Чистый и искренний от природы, — не мог замыкаться долго, снова готов был идти навстречу первому попавшемуся (“Все встречаю, все приемлю, рад и счастлив душу вынуть...”) — а в ответ...

Непросто даже прикинуть — какое количество “друзей”, приятелей, случайных знакомых паразитировало на есенинской откровенности, с упоением обсасывая тот или иной его неосторожный поступок, то ли иное брошенное сгоряча словцо. И сколько же мемуаров, опубликованных и оставшихся в стенах государственных архивов и в частных собраниях, родилось на этом зыбком неадекватном “фундаменте”, как на плавуне, качающемся под ногами.

Поэтому отбор мемуарного материала при написании книги о Есенине требует сам по себе чрезвычайной тщательности и предельной аккуратности. В противном случае авторы, соблазненные кажущейся легкостью использования всего возможного, что под рукой, могут угодить в непредусмотренную ловушку — пойти на поводу у пристрастных, подчас недалеких и не слишком умных современников, едва ли пользовавшихся на самом деле уважением самого поэта.

И может создаться поверхностное впечатление, что О. Лекманов и М. Свердлов пошли по этому пути, если следовать за ними, как за путеводителями по жизни Есенина, “ныряя” из цитаты в цитату, из сноски в сноску. Но стоит отойти на минимальное расстояние, как становится очевидно: все источники, все цитаты, все ссылки именно тщательно подобраны с одной — достаточно прозрачной — целью: разделить непреходимой гранью поэта и человека. С целью — “превознося” на словах первого (на самом деле это “превознесение” весьма сомнительного свойства, в чем мы еще убедимся), по возможности необратимо дискредитировать и унижить второго.

Дабы убедиться в этом — пройдемся по тексту представленной нам “Биографии”, по возможности не увязая в полемике по мелочам (хотя сплошь и рядом эти “мелочи” чрезвычайно значимы, при том, что пробрасываются как бы “вскользь”).

* * *

Занятная тональность всей книги задана уже в самом ее начале — в рассказе о детстве Есенина.

“... Попробуем не слишком поддаваться есенинскому обаянию и суммировать факты о детстве и юности поэта в том селе, где всю делали “шлюза” и напряженно ожидали постройки железной дороги. Где жители подписывались на журнал “Сельский хозяин”, информировавший своих читателей о способах “выпаивания телят”, “содержания и откармливания свиней”, разведения “каракульских овец”, “приготовления коровьяго кумыса и мн. др.” (тут же следует ссылка на “Рязанские губернские ведомости” от 8 ноября 1908 года. — С. К.). И где сам Сережа увлеченно играл в крокет, а школу проходил не столько “по заре и звездам”, сколько по прописям и учебникам” (с. 12).

И все дальнейшие факты “суммируются” на солидной дистанции не столько от “есенинского обаяния”, сколько от его поэзии, говорящей о мире, в котором жил Есенин, о его восприятии этого мира больше, чем любой набор фактов. Но уж если идти по “фактам”, то едва ли стоило небрежным жестом отмахиваться от есенинских автобиографий, где поэт описывает свои походы в ночное, бешеную скачку на лошади, подхлестнутой припадочным дядюшкой, хождения с бабкой Натальей Евтихиевной в монастырь под ее присказку: “Иди, иди, ягодка, Бог счастья даст”... Но самое главное все же в другом: нет ни малейшего противоречия между “школой” и “крюкетом” с одной стороны — и рязанской природой с другой.

Я не знаю, бывали когда-либо авторы “Биографии” в Константиново (внимательно читая их книгу, в этом можно всерьез усомниться) и что они там видели. Но мне представляется чрезвычайно существенным то, что они фактически игнорируют на протяжении всей своей книги мир русской природы в есенинской поэзии. И это отнюдь не случайно. Скверно зная живую природу или не зная ее вообще — писать о Есенине чрезвычайно затрудни-

тельно. Рискуешь пройти мимо наиболее существенных сторон его поэтического творчества.

(В том, что этот мир обрел зримые черты позднее, когда Есенин уехал из родного села в Москву, а позже – в Петроград – нет ничего удивительного. Отходя на расстояние, пространственное и временное от привычной, родимой и, может быть, даже приевшейся ойкумены, обретаешь ее заново, открываешь в ней многое из того, что не замечал раньше. Она входит в твою поэтическую вселенную, наполняясь теми красками и звуками в движущемся образе, какие не открывались в детстве и ранней юности).

Но от того, что чуждо тебе лично, проще всего отмахнуться, объявив строки: “О край разливов грозных и тихих вешних сил, здесь по заре и звездам я школу проходил” – “биографическим мифом” (с. 9). Вообще представление о живой природе и о жизненных реалиях, как таковых, у авторов книги, мягко говоря, весьма своеобразное.

Так, один из авторов – О. Лекманов – в комментарии к стихотворению В. Маяковского “Дачный случай” (“Новое литературное обозрение”, № 5, 2005), отталкиваясь от заметки А. Жолковского “Поэтика произвола и произвольность поэтики”, комментирует строки поэта (“Поляна – и ливень пуль на нее, огонь отзвенел и замер, лишь вздрагивало газеты рванье, как белое, рваное знамя”) следующим образом:

“Сам Жолковский совершенно справедливо замечает, что речь здесь, возможно, идет “о той самой “Комсомольской правде”, где появятся эти стихи... Он же пишет о том, что праздник, упоминаемый в пятой строке “Дачного случая”, “вероятно, Первомайский, учитывая дату публикации (30 июня)”... И далее добавляет свое “наблюдение” к “наблюдению” Жолковского, упоминая стихотворение Ивана Молчанова “Свидание” и ответ на него Маяковского (“Письмо к любимой Молчанова, брошенной им”): “Обратим внимание, что эту свою сатиру на Молчанова Маяковский счел необходимым поместить именно в “Комсомольской правде” (в номере от 4 октября 1927 года) – то есть в той же газете, где Молчанов опубликовал свое “Свидание”. Это, как кажется, может послужить дополнительным аргументом в пользу предположения Жолковского о “газеты рваньё” как о “Комсомольской правде”: какую газету в стихотворении изображаем или упоминаем, в такую и несем стихотворение печатать”.

Логика поистине фантастическая, и остается только робко спросить – следовал ли ей в жизни Маяковский... Во всяком случае, газета, в которую поэт и его приятели палили на даче как в мишень, превращается у Жолковского, а следом за ним и у Лекманова в “Комсомольскую правду” от 1 мая 1928 года, в которой тот же Молчанов опубликовал новое стихотворение “Весны”, то есть стреляла компания в строчки ненавистного “горлану, главарю” стихотворца... Но читаем в этом же стихотворении у Маяковского: “Цветов детвора обступает меня, так называемых – лютиков... Компания дальше в кашках пошла, револьвер остыл давно, пошла беседа, в меру пошла...” И вспоминаем о том, что ни лютики, ни кашки (т. е. клевер) не цветут в Подмосковье в начале мая. Цветение клевера приходится на конец означенного месяца, а цветение лютика – на середину июня. Обративший мое внимание на сущую комментаторскую нелепость старший научный сотрудник Государственного музея В. В. Маяковского Л. Селезнев сопроводил лекмановский комментарий ядовитым примечанием: “Полезно было бы О. Лекманову (а заодно и редакторам “НЛО”) 1 мая выехать в подмосковный лес и посмотреть: что же в это время там цветет... Маяковский, хотя и равнодушен был к природе, имел взгляд художника: зоркий и цепкий в деталях... А праздников (и новых и старых) в 1920-е годы, в летние месяцы, было предостаточно и без 1 мая. Но уж очень хочется редакции “НЛО” в очередной раз “открыть огонь” по советской эпохе”.

Про советскую эпоху мы еще поговорим уже непосредственно в связи с рассматриваемой есенинской биографией. А пока отметим, что не зря в этой “Биографии” отсутствует описание есенинского мира живой природы, и обратим внимание на занятный эпизод из жизни поэта, относящийся к бакинскому периоду.

О. Лекманов и М. Свердлов, цитируя фразы Есенина из письма Г. Бениславской (“... Я по дурости искупался в середине апреля в море при сильном ветре. Вот и получилось. Доктора пели на разный лад. Вплоть до скоротечной чахотки...”), делятся с читателем своими “подозрениями” в некоем присутст-

вующем “подвохе”: “...Странно: с какой стати Есенину вдруг вздумалось купаться в холодную, ветреную апрельскую погоду?” И находят соответствующий ответ: “Ситуацию проясняют малоизвестные воспоминания одного из бакинских знакомых Есенина —...Ф. Непряхина. По его свидетельству, в один из вечеров во время посещения нефтяных промыслов Биби-Эйбата поэт неожиданно подбежал к открытому резервуару, наполненному нефтью, и, чуть помедлив на самом краю, бросился вниз. Испуганные спутники Есенина бросились ему на помощь, вытащили, помогли в море смыть нефть. В результате этого случая поэт и оказался в Бакинской больнице им. Рогова с сильнейшей простудой...” (с. 518).

Эти воспоминания Ф. Непряхина (которого трудно назвать даже знакомым — он был лишь одним из членов бакинского литературного кружка, который несколько раз посетил поэт) о Есенине, плавающем в резервуаре с нефтью, были впервые напечатаны под заголовком “Поэт и нефть” в газете “Баку” в 1965 году. Больше никто из “спутников” не вспоминал ни о чем подобном, а непрыхинские писания никто не принял всерьез — в силу их абсолютной фантастичности, и лишь в нашу фантазмагорическую эпоху, когда любое вранье сойдет за неопровержимый факт (по принципу “нет дыма без огня”), они могли быть введены “в научный оборот” сначала в журнале “Русский язык и литература в Азербайджане”, а потом в рассматриваемом сочинении. (Кстати, тот же Непряхин в своем “мемуаре” отметил, что Есенин “провел не одну неделю в больнице”, тогда как хронология событий этого времени неопровержимо свидетельствует, что Есенин провел в ней максимум неделю). Сам Есенин, будучи таким позером и хвастуном, каким его рисуют О. Лекманов и М. Свердлов на протяжении всей книги, не преминул бы похвастаться подобным “подвигом”, но суть в другом: неужели О. Лекманов и М. Свердлов всерьез полагают, что подобное “купание” могло иметь место в действительности, и что его последствием могла быть лишь “сильнейшая простуда”? Или они считают, что это то же самое, что омыть нефтью лицо и руки, как порой поступают нефтяники?

А под этот “факт” уже подводится “солидная идейная база”: это “второе крещение” поэта “означает... может быть, черное крещение смертью” (с. 519).

Концептуальность “жизненного пути” и “возможного конца” в наличии. А что в основе? Фантазия литературного неудачника, обозначающего свою “близость” через некую явленную жизненную “экстравагантность”?

Ладно, отойдем от “жизни” и переключимся на “литературу”, в области которой, как кажется, авторы чувствуют себя более уверенно. Разделить, впрочем, “жизнь” и “литературу” нам до конца так и не удастся, да это и невозможно в принципе. Но любопытную, однако, операцию в этой области “разделения” пытаются проделать наши авторы.

* * *

Прежде всего, они чрезвычайно увлечены процессом “разоблачения” своего героя, “срывания” с него “всех и всяческих масок”, во всяком случае там, где эти маски им видятся.

“Александр Никитич еще мог бы сказать о себе горделивыми есенинскими строчками:

*У меня отец крестьянин,
Ну а я крестьянский сын.*

(“Мелколесье. Степь и дали...”)

А вот его сын Сергей — уже нет” (с. 12).

И каковы же основания у авторов для подобного утверждения? Что Александр Никитич Есенин “в деревне... бывал лишь наездами” (с. 12)? Во-первых, это неправда — он приезжал из города и жил подолж в Константинове. Крестьянский труд, действительно, был ему тяжек, Татьяна Федоровна, мать поэта, зарабатывала деньги на жизнь то в Москве, то в Рязани — но происхождение у Есенина именно крестьянское, о чем поэт с гордостью говорил не только в стихах. “Я сын крестьянина”, — так он начал свою очередную авто-

биографию, и сомневаться в этом до сего дня ни у кого не было оснований. А уж о воспитании в семье бабки и деда, живших именно сельским трудом, и говорить нечего.

И уж тем паче, при более или менее объективном разговоре о детстве Есенина, невозможно было бы не упомянуть о бабушке Аграфене Панкратьевне, слывшей в Костантинове одаренной песельницей, плачущей и воплещей... У нее-то, очевидно, и брал Сергей свои первые “поэтические уроки”. Не случайно, как вспоминала сестра поэта Екатерина, “он хорошо ее помнил, но никогда не произносил ее имя”. Видимо, память о ней долго саднила в душе юноши.

“В силу понятных причин спустя десятилетия мемуаристы на все лады расписывали его чудесные дарования, проявлявшиеся в самых различных областях” (с. 15).

Хотелось бы, чтобы авторы указали на эти самые “понятные причины”, ибо без них фраза повисает в воздухе и остается “тонкий намек на некие толстые обстоятельства”, а, точнее, непонятно на что. Какие опять же основания у Лекманова и Свердлова не верить мемуаристам, писавшим, что Есенин в деревне был среди ребят “первый заводила”, что был мастак “половить утят”, да и утверждению самого Есенина, что в лазании по деревьям “из мальчишек никто не мог со мной тягаться” (с. 15–16) ? У авторов есть свидетельства противоположного? Какие? Чьи? Не худо бы привести их, прежде чем бросать туманные, ни к чему не обязывающие фразы “с подколочкой”: дескать, “не так все было”.

Этот зуд разоблачительства играет с авторами настолько дурную шутку, что они даже не замечают анекдотичности своих же собственных утверждений. “Стихи начал писать, подражая частушкам”, – свидетельствует Есенин в автобиографии 1923 года. А восемью годами раньше в одной из первых автобиографий поэт точно указал на первоначальный исток своего творчества: “К стихам расположили песни, которые я слышал кругом себя, а отец мой даже слагал их”. О частушках, сочиняемых Есениным, вспоминает и А. Зимины, его частушки приводят по памяти Николай Сардановский, Николай Титов... Из них из всех авторы отбирают лишь Зимину, “уличают” ее в том, что она “родилась через пять лет после событий, которые описывает” (с. 17). И получается, что Есенин не частушки сочинял про белобрысого попа Гаврилу и помещика Кулакова, а бессмыслицу “тина-мясина”, запомненную Клавдием Воронцовым.

К чему все это? Да к тому, – подводят наши авторы, – что не такой уж и одаренный мальчик-то в детстве был, как о нем написано... Знаем-с, знаем-с... “Легенду о необыкновенно рано пробудившихся в мальчике творческих способностях отнюдь не подтверждает следующий печальный факт из биографии двенадцатилетнего Сереги-монаха: в третьем классе училища он просидел два года” (с. 18). А то, что причина сего печального факта – неумное поведение и баловство, а отнюдь не “тупоумие”, на которое явно намекают авторы, – об этом, естественно, лучше умолчать. Замять. Для ясности. Так же как, упомянув о похвальном листе по окончании Константиновского четырехклассного училища и отметив (с той же “разоблачительской” ноткой), что “похвальные листы получили все ученики, окончившие четыре класса” (с. 18), умолчать о том, что трое из *всех* (и в эту тройцу входил Есенин) были награждены особой премией – рекомендацией для поступления в Спас-Клепиковскую учительскую школу или Рязанское духовное училище.

М-да... Начнешь вот так читать книгу – и увязнешь на первой же главе в передержках, многозначительных недосказанностях, искажениях фактов – и все неявно, “в пробор”, между делом... Явственно ощущая совершенно антиесенинскую тональность всего сочинения, соответственно, к следующим страницам переходишь уже с предощущением очередных передергиваний, “разоблачений”, а также ссылок на безусловно “правдивых”, с точки зрения авторов, мемуаристов.

* * *

Перенесемся ближе к середине этого внушительного тома и вспомним (с неизбежностью) об одном из таких мемуаристов – об Анатолии Мариенгофе, “Роман без вранья” которого стал одним из фундаментальных “кирпичей” в

основании “Биографии”. Заранее упреждая все возможные упреки, авторы делают необходимую преамбулу: “... Само название подсказывает: чтобы произвести требуемый парадоксальный эффект, этот “роман” непременно должен был строго, “без вранья”, следовать фактам... именно поэтому никто из недоброжелателей Мариенгофа (с момента публикации произведения и до сего дня) так и не смог уличить его во лжи. Сложнее – с обвинениями в “искажениях” и карикатурности. Мариенгоф действительно играет с фактами, меняя освещение, ракурс, риторический акцент для подтверждения своих пристрастных тезисов – и при этом не жалеет ни друзей, ни врагов, ни живых, ни мертвых... Любое одностороннее прокурорское суждение о мариенгофском “романе” неизбежно бьет мимо цели. И вот почему: не только в названии, но и в основе всей книги главное – парадокс, игра контрастами и противоречиями. “Роман без вранья” – текст с двойным дном: самолюбование автора здесь постоянно переходит в самоиронию, а очернительские ирония, напротив, служат контрастом для высокой темы...” (с. 218–219).

Даже эпизод, связанный с судьбой доцента Московского университета Н. Шварца, который, по Мариенгофу, застрелился после жестокого есенинского разгрома шварцевского “Евангелия от Иуды”, а на самом деле отравился кокаином вне всякой связи с этим разгромом, по мнению авторов, “по сути ничего не меняет” (с. 218). Было бы любопытно разобрать еще пару эпизодов “навскидку” из упомянутого “Романа” и подумать – “меняет” ли что-либо в нашем восприятии мариенгофской книги этот поверхностный анализ.

Эпизод первый:

“Как-то, не дочитав стихотворения, он схватил со стола тяжелую пивную кружку и опустил ее на голову Ивана Приблудного – своего верного Лепорелло. Повод был настолько мал, что даже не остался в памяти. Обливающегося кровью Приблудного увезли в больницу.

У кого-то вырвалось:

– А вдруг умрет?

Не поморщив носа, Есенин сказал:

– Меньше будет одной собакой!”

С Приблудным Есенин познакомился осенью 1923 года, уже после того, как разорвал всякие отношения с Мариенгофом. В одной компании они не встречались, и свидетелем никакой подобной сцены Мариенгоф быть не мог. Но самое интересное другое: никто больше, кроме автора “Романа без вранья”, не вспоминает об этом эпизоде. Остается лишь предположить совершенно клиническую сцену: встречались трое – Есенин, Мариенгоф и Приблудный, – а в больницу Приблудного доставлял лишь Мариенгоф... Но в таком случае – у кого это вырвалось: “А вдруг умрет?” У самого Мариенгофа?

Дальше – больше. Подобный эпизод в принципе не мог развиваться без участия милиции. Копии протоколов пребывания Есенина в милицейских отделениях, слава Богу, сохранились. Тщетно искать в них описание подобной сцены. И уж во всяком случае невеста, а потом и жена Приблудного Наталья Милонова не могла бы не знать о случившемся. Но в записанных за нею воспоминаниях не сообщается ни о чем, даже отдаленно похожем на сцену из “Романа”.

Эпизод второй:

“Из всей литературы наименее по душе была нам – литература военного комиссариата...”

Зажмурили глаза, а вести стали ползти через уши.

С перепугу Есенин побежал к комиссару цирков – Нине Сергеевне Рукавишниковой, жене поэта.

Циркачи были освобождены от обязанности и чести с винтовкой в руках защищать республику.

Рукавишникова предложила Есенину выезжать верхом на коне и читать какую-то стихотворную ерунду, сопровождающую пантомиму.

Три дня Есенин гарцевал, а я с приятельницами встречал и провожал его громовыми овациями.

Четвертое выступление было менее удачным.

У цирковой клячи защеколало в ноздре, и она так мотнула головой, что Есенин, попрыгавший к ее спокойному нраву, от неожиданности вылетел из седла и, описав в воздухе головокружительное сальто-мортале, растянулся на желтой арене.

– Уж лучше голову сложу в честном бою, – сказал он Нине Сергеевне. С обоюдного согласия полугодовой контракт был расторгнут”.

Оставим в стороне отсутствие неумолимого факта – воспоминаний “приятельниц”, других “циркачей” и вообще очевидцев этой забавной сцены... Если бы подобный “цирк со звездами” имел место в реальности – будьте уверены: хоть одна, хоть две газеты того времени дали бы если не красочный репортаж, то содержательную заметку о происшедшем. Ни одна выходка имажинистов без внимания прессы или работников органов внутренних дел не обходилась. Уж в мемуарах потом описывались самые ничтожные “подвиги”... А что касается Есенина – да тут мимо бы никто не прошел!

И интересное, однако, отношение власти к дезертирам! Да если бы на самом деле призыв в действующую армию в условиях гражданской войны грозил имажинистам – никакой “цирк” бы не помог. Дезертиров попросту, не заморачиваясь, ставили к стенке, не составляя никаких протоколов, не заводя никаких номерных “уголовных дел”... Так что “в честном бою” – оставляем на совести Мариенгофа.

Свидетель у нас опять же один – наш мемуарист. Впрочем, свидетель фальшивый. И подтверждение тому – эпизод из воспоминаний его же друга и соратника Вадима Шершеневича, которые называются “Великолепный очевидец”.

“Долгие годы Рукавишников был женат на какой-то брюнетке, купеческой дочери из Одессы. Жил с ней недружно и оборванно. Позже она стала комиссаром цирков, и Рукавишников выступал несколько раз в цирке: читал стихи с лошади. Конечно, свалился”.

Кажется, ясно. Проще всего приписать историю с одним персонажем – “для пушечного впечатления” – другому, да еще и страху нагнать... Дескать – во как жили! У-ю-юй!

Страха, на самом деле, хватало. Но не сочиненного Мариенгофом, а вполне реального, жизненного.

И возможные ссылки О. Лекманова и М. Свердлова на “художественное воображение” писателя здесь не проходят. Они сами выбили этот “kozyрь” из своих собственных рук, в очередной раз “уличая” Есенина:

“Позже, как бы отвечая на вопрос, где он был во время Февральской революции, Есенин сочинит немало по-хлестаковски вдохновенных легенд. Так, в поэме “Анна Снегина” он заговорит от имени фронтовика-дезертира, измученного войной “за чей-то чужой интерес” (с. 140).

И далее, цитируя строки из поэмы – сцену встречи героя и Анны после гибели ее мужа, – тут же соотносят историю героини с историей прототипа: опять все на самом деле было не так!

“Поскольку у реальной Лидии Кашиной не было мужа-белогвардейца (да и вообще не было мужа – с Николаем Кашиным Лидия Ивановна была в фактическом разводе с 1916 года), ее взаимоотношения с Есениным развивались в совершенно ином ключе” (с. 197).

Можно подумать, что писал Есенин на лиро-эпическую поэму, а мемуар о своей жизни. Можно подумать, что Лекманов и Свердлов не понимают разницы между автором поэмы и ее героем. Понимают прекрасно! Но – лукавят.

Больше об “Анне Снегиной” не будет в “Биографии” ни слова. Этот поэтический шедевр, одно из главных произведений Есенина последнего периода его жизни – прокатился мимо авторов, “как по паркету”, пользуясь выражением одного мемуариста, который словно ослеп и ослеп, когда Есенин читал ему свое только-только завершённое произведение.

...Естественнее всего было бы, конечно, заключить, что клиническое вранье Мариенгофа попросту исключает возможность ссылки на него мало-мальски добросовестными исследователями, тем более что многие “персонажи” его “Романа” отказались общаться с автором после выхода книги, о чем наши биографы прекрасно знают, но, естественно, не упоминают. Однако не так все просто на самом деле ни с этим “Романом”, ни с “враньем”, в нем содержащемся.

Дело в том, что первый вариант книги под заголовком “О Сергее Есенине. (Воспоминания)” вышел по горячим следам гибели поэта в 1926 году. Сцены, описанные в этой тоненькой книжечке, посвященные истории создания поэмы “Кобыльи корабли”, “Сорокоуст”, стихотворения “По-осеннему кычет сова...”, вызвали доброжелательный интерес у читателей и критиков и не

спровоцировали никакой отрицательной реакции. Во всяком случае, книжка Мариенгофа в общем потоке “литературы о Есенине” в тот год была отмечена, и отмечена в целом положительно.

А дальше произошло следующее. Видя, каким успехом пользуются на рынке л ю б ы е книги о только что погибшем поэте, как сметаются с прилавков наравне со сборниками разнообразных воспоминаний, книжками Ивана Розанова и Софьи Виноградской низкопробные брошюры Алексея Крученых, Мариенгоф включил свою деловую вставку, которой не единожды восторгаются на протяжении “Биографии” М. Свердлов и О. Лекманов. В мемуаристе заговорил опытный делец – и Мариенгоф прекрасно понял, на что клюнет публика: на соответствующий образ Есенина в контексте жизни литературной богемы конца 1910-х – начала 1920-х годов, написанный пером “лучшего друга”. Здесь уже было не до совести, не до истины, не до уважительного отношения к современнику. “Налетай, торопись, покупай живопись!” В ход пошло все: Есенин, падающий с лошади; Есенин, разбивающий голову Ивану Приблудному; Есенин, заставляющий мемуариста “вытереть носы” цветам на ковре; хлещущая с утра водку Изадора Дункан (ирландка по происхождению, она всегда предпочитала произносить свое имя в ирландском звучании – так мы и будем поступать в дальнейшем); Клюев, сбегавший из Москвы по получении сапог, шитых за счет Есенина... А самое главное – в ход пошел тот образ поэта и человека, который идеально совпал с образом, нарисованным Львом Сосновским в статье “Развенчайте хулиганство!”, а потом – Николаем Бухариным в “Злых заметках”. Деловой интерес (за три года разошлись три издания книги, объемом в несколько раз превышающей предыдущие “Воспоминания”) сопровождала политическая конъюнктура.

Уже одно это соображение могло бы остудить пыл авторов, в самых красивых словах оценивающих “Роман без вранья”. При том, что другого писателя, позволившего себе в мемуарной книге изрядную долю “художественного воображения” и не слишком тепло пишущего о Есенине, они характеризуют как “завистливого Пимена Карпова” и утверждают, что тот “в мемуарах Есенина охаял” (с. 99). Неизмеримо большее охаивание Есенина Мариенгофом превозносится, ибо мариевский “Роман” для наших биографов – незаменимый источник информации.

Так же, как и другая книга, без цитат из которой они не в состоянии представить себе главу “Иван-царевич и Жар-птица: Сергей Есенин в погоне за мировой славой”, посвященную заграничному путешествию поэта. Речь идет о мемуарах Мэри Дести “Нерассказанная история”.

Подходцы (по другому не скажешь) к нужным цитатам весьма своеобразные.

“Кульминацией есенинского пьянства, всевозможных маний и фобий стали два самых громких скандала заграничного периода: первый случился в Нью-Йорке, в Бронксе, незадолго до отъезда из США, второй – в фешенебельном отеле “Крийон” сразу по прибытии во французскую столицу” (с. 457).

Далее следует большая цитата из Вениамина Левина, посвященная скандалу в Бронксе (цитата, предусмотрительно усеченная авторами “Биографии” – и об этом еще будет разговор), – и сразу, без паузы, переход к парижскому отелю “Крийон” – с соответствующей цитатой из Дести о том, как якобы “в номер вломилась шестеро полицейских и забрали мсье в полицию, после того как он пригрозил убить их и переломать в комнате всю мебель, высадил туалетный столик и кушетку в окно”... Наши авторы, приняв все на веру, не моргнув глазом, делают свои глобальные выводы:

“... Поэт не только производил впечатление маленького ребенка, уже не отвечающего за свои поступки, – после американского турне он, по воспоминаниям Адамовича, “был жалок, измучен, он был насмерть подстрелен”.

И поэтому никого не удивляли его дальнейшие поступки.

Предательство? Поэт совершил его с детской улыбкой. Что Есенин говорил в своих интервью, в то время как Айседора всеми силами выгораживала его, виновника громких скандалов на двух континентах: дескать, он был на фронте, три раза, да еще и контужен, терпел неслыханные муки во время революции – и при этом еще он “чудесный гений”? Есенин, оказавшись в Берлине один, без Айседоры, обвинял ее в пьянстве и стал жаловаться газетчикам на то, какой адской была их супружеская жизнь...

Воровство? После разгрома номера в отеле “Крийон”, когда Есенина забрали в полицию, Дункан обнаружила в его портфеле припрятанные им две тысячи долларов. “Господи, Мэри, – воскликнула она, открыв портфель, – неужели я вскормила змею на своей груди? Нет, не верю, бедный Сережа. Я уверена, что он и сам не знал, что делал” (с. 459–460).

Естественный вопрос – можно ли верить Дести? – авторы упреждают коротеньким примечанием: “О достоверности этих сведений, сообщаемых Дести, см.: McVay G. Isadora and Esenin. P. 156” (с. 460).

Я могу себе представить не слишком искушенного и не знающего в существенных подробностях биографию Есенина читателя, который возьмет в руки книгу О. Лекманова и М. Свердлова и будет ошеломлен, если не раздавлен, обилием цитат, ссылок на мемуарные источники, что, естественно, создаст впечатление абсолютной информированности авторов, а также несомненности информации, ими выплескиваемой. Посему разобратся стоит по существу.

Прежде всего: откуда авторы взяли “детскую улыбку”? Их собственное “художественное воображение” подсказало? Или это тоже свидетельство “научной добросовестности”?

Далее: невозможно, обратившись к первоисточникам, не заметить, насколько оригинально Изадора “выгораживала” своего супруга. Чего стоит хотя бы заголовок в парижском издании газеты “Chicago Tribune”:

“Он сумасшедший”, – вот приговор Айседоры беглецу-мужу”.

В-третьих: выдавать, как стопроцентно надежный источник информации, без каких-либо комментариев, – продукцию американских газетчиков, способных все что угодно досочинить и придать всему “нужный” ракурс?.. В подобную наивность наших биографов я, извините, не верю. И мое недоверие имеет под собой все основания: уж больно интересно они сами обращаются с цитируемым документом.

Приводят заявление Есенина из газеты “The New York World”: “Я был дурак... Я женился на Дункан ради ее денег и возможности попутешествовать” (с. 460). После чего цитата “аккуратно” обрывается и перед глазами читателя предстает образ безнадежно испорченного альфонса. Но дело в том, что, при всей тенденциозности заметок о Есенине и Дункан, эти газетные материалы в самом деле могут послужить богатым источником для понимания того, в каком душевном состоянии находился Есенин в финале своего заграничного “турне”. Поэтому приведем данную цитату в более полном виде:

“Сергей Есенин, муж Изадоры Дункан, остановившийся в Берлине на пути в Россию, выплеснул поток русской искренности и открытости. Молодому поэту надоел его брак, надоели жены, Америка и все на свете, кроме искусства, найти которое можно только в Москве.

Когда разговор зашел о его темпераментной жене, его нападки стали еще более резкими, и у него вырвались такие слова:

“Я не буду жить с ней даже за все деньги, какие есть в Америке. Как только я приеду в Москву, я подам на развод. Я был дураком. Я женился на Дункан ради ее денег и возможности попутешествовать. Но удовольствия от путешествия я не получил. Я увидел, что Америка – страна, где не уважают искусство, где господствует один тупой материализм. Американцы думают, что они замечательный народ, потому что они богаты, но я предпочитаю бедность в России”.

Вырисовывается несколько иная картина, не правда ли? И в данном контексте резкие слова о Дункан уже воспринимаются, как выплеск раздражения, причины которого неизмеримо более существенны, чем представляется в процессе чтения главы “Иван-царевич и Жар-птица”. Так что никакое “предательство” тут ни при чем... Кстати сказать, многие слова и поступки Есенина, если угодно, “симметричны” многим словам и поступкам самой Изадоры Дункан. Так, она заявила Службе международных новостей:

“Я никогда особенно не верила в брак, а теперь я верю в него меньше, чем когда-либо... Я вышла замуж за Сергея лишь для того, чтобы помочь ему получить американский паспорт. Он гений, а брак между артистическими натурами невозможен... Вы знаете, некоторые русские не уживаются в другой стране. В этом была трагедия Нижинского. Сергей – такой же”.

А что касается скандала в отеле “Крийон”, то это был своего рода “ответ” Есенина на разгром, который в припадке ревности учинила Дункан в Берлине в пансионе на Уландштрассе, разгром, красочное описание которого оставила Наталья Крандиевская-Толстая – его авторы приводят в своей книге на с. 448.

Но у скандала в “Крийоне” была гораздо более существенная подоплека.

Есенин все заграничное путешествие мучился от невозможности писать — он нигде не мог найти уединения. И тем не менее при том чудовищном режиме, который ему устроила Изадора, он умудрялся-таки работать над стихами, которые потом вошли в цикл “Москва кабацкая”, над первым вариантом “Черного человека” и — самое главное — над “Страной негодяев”, замысел которой возник еще в России. Первая публикация сцены “Экспресс № 5” снабжена датой “14 февраля 1923 года”, а местом написания указан Нью-Йорк. Составители 3-го тома “Летописи жизни и творчества С. А. Есенина” справедливо полагают, что “возможно, начав этот фрагмент в Нью-Йорке, Есенин продолжал работу над ним на пути в Европу вплоть до приезда в Париж”. Это косвенно подтверждают буквальные совпадения слов Есенина, обращенных позже к Софье Толстой, о нью-йоркской бирже (“Это страшнее, чем быть окруженным стаей волков”) со словами Дункан прессе: “Я потеряла четыре месяца жизни на поездку в Америку. Это была мука. К моему мужу в Америке отнеслись хуже, чем когда-либо в России. Американцы похожи на стаю волков... Америку основала шайка бандитов, авантюристы, пуритане и первопроходцы. Теперь всем заправляют бандиты... Американцы сделают что угодно за деньги. Они продадут свои души, своих матерей и своих отцов. Америка больше не моя родина...” Тональность и смысл ее слов во многом совпадают с тональностью и смыслом монолога Никандра Рассветова из указанной сцены “Страны негодяев”. И эту сцену, Есенин, очевидно, дописывал именно 14 февраля, остановившись в “Крийоне”. Слишком много значила эта работа для поэта, если, вынужденный не по своей воле оторваться от нее в очередной раз, он буквально пришел в бешенство.

Так что за свои поступки Есенин отвечал прекрасно. Во всяком случае, причина их вполне понятна сведущему и не ангажированному человеку. И ни о каком “маленьком ребенке” с притворной жалостью говорить не приходится.

И уж тем более очевидна причина скандала в Бронксе в компании еврейских литераторов и журналистов. Авторы “Биографии”, начав цитировать воспоминания Вениамина Левина со слов “... Схватил ее так, что ткань затрещала, и с матерной бранью не отпускал...” и вплоть до криков поэта “Распинайте меня, распинайте меня!.. Жиды, жиды, жиды проклятые!” (с. 457. При последних репликах Левин не присутствовал, он выписал их со слов Мани-Лейба, проверить подлинность которых не представляется возможным) — опять же аккуратно опустили весь предшествующий текст, который один по сути и объясняет причину случившегося.

“Есенин сразу почувствовал, что попал на зрелище... Какие-то незнакомые мужские фигуры окружили Изадору... Она улыбалась всем мило и радостно. Сразу же пошли по рукам стаканы с дешевым вином, и винные пары с запахом человеческого тела скоро смешались. Я слышал фразочки некоторых дам:

— Старуха-то, старуха-то ревнует!..

Это говорилось по-еврейски, с наивной простотой рабочего народа, к которому они принадлежали, и говорили это об Изадоре: это она была “старуха” среди них, лет на десять старше, но главное, милостью Божьей великая артистка, и ей нужно было досадить. При всем обществе Рашель обняла Есенина за шею и говорила ему что-то на очень плохом русском языке. Всем было ясно, что все это лишь игра в богему, совершенно невинная, но просто неразумная. Но в той бездуховной атмосфере, в какой это имело место, иначе и быть не могло...”

Хуже атмосферы для чтения стихов придумать было невозможно. И все же Есенин уступил просьбам и начал читать первую сцену именно из “Страны негодяев”:

З а м а р а ш к и н:

Слушай, Чекистов!..

С каких это пор

Ты стал иностранец?

Я знаю, что ты

Настоящий жид.

Ругаешься ты, как ярославский вор.

Фамилия твоя Лейбман,
И черт с тобой, что ты жил
За границей. . .
Все равно в Могилеве твой дом.

Ч е к и с т о в :

Ха-ха!
Ты обозвал меня жидом?
Нет, Замарашкин!
Я гражданин из Веймара
И приехал сюда не как еврей,
А как обладающий даром
Укрощать дураков и зверей.
Я ругаюсь и буду упорно
Проклинать вас хоть тысячи лет,
Потому что. . .
Потому что хочу в уборную,
А уборных в России нет.
Странный и смешной вы народ!
Жили весь век свой нищими
И строили храмы Божие. . .
Да я б их давным-давно
Перестроил в места отхожие.
Ха-ха!
Что скажешь, Замарашкин?
Ну?
Или тебе обидно,
Что ругают твою страну?
Бедный! Бедный Замарашкин. . .

З а м а р а ш к и н

Черт-те что ты городишь, Чекистов!

Посыл был абсолютно по адресу — по адресу собравшихся еврейских трюкстов, обосновавшихся в Америке, — с четким одновременным отсылком к отечественным “чекистовым” и главному прототипу “комиссара железнодорожной линии” — кровавому наркомвоенмору. Перечитывая ныне этот диалог, ловишь себя на мысли о настоящем пророчестве поэта — не только в области исторических реалий, но и в отношении будущих персонажей: слишком узнаваемы реплики “комиссара” в устах иных нынешних политических деятелей. “Или тебе обидно, что ругают твою страну? Бедный, бедный Замарашкин. . .”

А тогда — тогда собравшиеся все прекрасно поняли и отреагировали на “оскорбление” своего кумира соответственно. “Оказавшись в стороне от четы Есениных, я услышал, как стоявший у камина человек среднего роста в черном пиджаке повторил несколько раз Файнбергу, угощавшему вином из бутылки:

— Подлейте ему, подлейте еще. . .

Позже я узнал этого человека, автора нескольких пьес и романов — ему хотелось увидеть Есенина в разгоряченном состоянии. . .” Своего эта компания в конце концов добилась: “И огромная неожиданная толпа, которая пришла глазеть на них, и невозможность высказать все, что хотелось, и вольное обращение мужчин с его Изадорой, и такое же обращение женщин с ним самим, а главное — вино. . .” Вино все же было не главным — оно лишь сыграло роль спускового крючка. Главным было отношение окружающих, что, наконец, и подтвердил Вениамин Левин, говоря о последствиях происшедшего скандала: “Назавтра во многих американских газетах появились статьи с описанием скандального поведения русского поэта-большевика, “избивавшего свою жену-американку, знаменитую танцовщицу Дункан”. Все было как будто правдой и в то же время неправдой. Есенин был представлен “антисемитом и большевиком”. . . Стало ясно, что в частном доме поэта Мани-Лейба на “вечеринке поэтов” присутствовали представители печати — они-то и предали

“гласности” всю эту пьяную историю...” Любой наш современник, зная нравы и отечественной, и зарубежной “желтой прессы”, может подтвердить: ничего с тех пор не изменилось.

Но у авторов “Биографии” свое, “добросовестное”, видение ситуации: “Впрочем, продажность западной прессы здесь ни при чем. Просто постепенно, и именно в Америке, есенинские скандалы приобретали все более неконтролируемый, клинический характер – американские газетчики и не думали этого скрывать” (с. 456).

Из всего левинского описания “вечеринки” О. Лекманов и М. Свердлов используют лишь картину непосредственного скандала, в результате чего необратимо искажается вся причинно-следственная связь. Точнее, она даже не искажается – просто конкретная сцена изымается из своего естественного контекста, после чего уже нетрудно представить поэта, одержимого “демонами неврастении и шизофрении”, “всевозможными маниями и фобиями”. Но самое главное: причины происшедшего – сцены из “Страны негодяев” – как будто нет в природе. Разговор об этом произведении у авторов “Биографии” отсутствует как таковой – лишь название драматической поэмы единственный раз упоминается в более чем шестистотстраничном томе.

Указание Н. Шубниковой-Гусевой на эту, с позволения сказать, “лакуну” вызвало у наших авторов какую-то совершенно неадекватную реакцию: “Ну а в связи со “Страной негодяев” (и другими поздними опытами вроде “Песни о великом походе” и “Поэмы о ЗБ”) напомним: наша книга не относится к жанру “жизнь и творчество”, требующему монографического разбора всех крупных произведений поэта. “Биография” гораздо свободнее в выборе, оставляя возможность не останавливаться на неудачных или тупиковых (по нашему мнению) произведениях”.

Уже одно это признание ставит крест на всех разговорах о “добросовестности” разбираемой книги. Прежде всего: “Страну негодяев” невозможно ставить в один ряд с “Песней о великом походе” и “Поэмой о ЗБ” – и это подтвердит любой более-менее квалифицированный литературовед. Далее: одно из центральных произведений поэта, – пьеса, каждая строчка которой и сегодня буквально жжёт пальцы, – не может быть столь снобистски проигнорировано, тем более, что сам Есенин работал над ним до последнего дня, и уже по определению не мог считать его своей “неудачей”. Кстати, не худо бы выяснить, куда сами авторы относят “Страну негодяев”: к “неудаче” или к “тупику”? Все же здесь есть существенная разница. И если это, по их мнению, “тупик”, то о какой “добросовестности” можно вообще говорить?

Но – попытаемся. Дальше. Всё о той же добросовестности. О которой, судя по всему, должна свидетельствовать цитационная и ссылочная дотошность М. Свердлова и О. Лекманова. Вы еще не забыли обвинение Есенина в воровстве, когда представляется самый, по мнению биографов, надежный “свидетель” сего деяния – Мэри Дести, свидетельство которой должен был подкрепить (“см.”) английский исследователь Гордон Маквэй? Осуществляем действие “см.” – открываем соответствующую страницу книги Гордона Маквэя “Isadora and Esenin” в ожидании найти еще одно свидетельство другого человека, полицейский протокол, в конце концов, газетное сообщение со ссылкой на еще одного-двух свидетелей... Не обнаруживаем ничего подобного. Маквэй ссылается на ту же Мэри Дести, то есть попросту верит ей на слово.

Кто же такая Мэри Дести? И вот тут добросовестнее всего, на мой взгляд, привести мнение, как мне представляется в данном случае, достаточно компетентного человека, ссылающегося на современников той, отдаленной от нас эпохи.

В 1995 году в русском переводе вышла в свет книга Ирмы Дункан и Аллана Росс Макдугалла “Русские дни Айседоры Дункан и ее последние годы во Франции” (она многозначительно отсутствует в “избранной библиографии” к книге О. Лекманова и М. Свердлова, хотя в тексте они дважды приводят цитаты из нее – то есть с самой книгой наши биографы знакомы). Ожидать знания и понимания личности и поэзии Есенина от авторов не приходится – и здесь к ним не может быть никаких претензий (страницы, посвященные Есенину, преимущественно заполнены цитатами из того же Анатолия Мариенгофа), но портрет Изадоры, написанный ими, представляет собой большой интерес. Книгу предваряет вступление переводчика Г. Г. Лахути, в котором написано буквально следующее:

“Велика литература об Айседоре Дункан на английском языке. Однако “советский период” ее жизни и там освещен недостаточно полно, а во многих источниках изобилует неточностями и даже “развесистой клюквой”. Особенно это относится к вышедшей в 1929 году в Нью-Йорке книге Мэри Дести “Нерассказанная история. Жизнь Айседоры Дункан в 1921–1927 гг.”. Женщина ограниченная и склонная к безудержной рекламе и фантазированию, занимавшая в течение недолгого времени скромную должность компаньонки при Айседоре, она написала свою версию последних лет ее жизни, прямо-таки переполненную недостоверными и полумифическими историями. По Дести выходит, что она сама танцевала ничуть не хуже Айседоры и оставила это занятие, только чтобы не вызывать ревности и зависти последней; что вообще танцевать босиком придумала она; что Айседора хотела и чуть ли не завещала ей свою неоконченную автобиографию; что ей, Дести, был устроен триумфальный прием в московской школе Дункан, куда она зашла во время своего краткого визита в Москву после смерти Айседоры, причем все ученицы якобы уверяли, что она похожа на Айседору, и смотрели на нее с обожанием. Все эти утверждения являются абсурдным вымыслом, а последнее вызвало дружный хохот очевидцев визита в школу учениц Ирмы – уже упоминавшейся Е. В. Терентьевой и Е. Н. Федоровской. Даже американское турне Ирмы с ученицами устроил, оказывается, не Сол Юрок, а опять же вездесущая Мэри! Телеграмму, посланную Айседоре в Ялту из Москвы Галиной Бениславской, она приписывает С. А. Толстой... и т. д. и т. д.

И вот эту книгу, единодушно признанную недостоверной и ни разу по этой причине не переиздававшуюся на Западе, Издательство политической литературы в Москве (ныне издательство “Республика”) выпустило в 1992 году тиражом в 100 тысяч экземпляров под одной обложкой с третьим за последние два года переизданием книги А. Дункан “Моя жизнь”... Айседора не успела написать ни о России, ни о Есенине, и ее собственный текст в сборнике доходит только до ее намерения поехать в Россию в 1921 году. Пребывание же ее в России и отношения с Есениным даны только в более чем вольном пересказе Дести... Она воспроизводит по памяти устные рассказы Айседоры, приукрашивая их своими домыслами, так что получается “испорченный телефон”...

Можно ли верить данному человеку вообще, даже там, где он выставляет себя “живым свидетелем” или “очевидцем”? Ссылаться в каком бы то ни было контексте на этот “испорченный телефон”, на эту безудержную лгуню и фальсификаторшу – значит, потерять к себе всякое уважение, как к исследователю. Но, похоже, наши авторы своими ссылками преследовали вполне определенную цель.

... Волей-неволей хочется отойти на полшага в сторону и провести небольшую, достаточно отдаленную аналогию... Во втором томе “Записок об Анне Ахматовой” Лидии Чуковской приведена забавная сцена. Анна Андреевна слушает цитируемую ей “внутреннюю рецензию” некоего Ложечко: “Ритм обыкновенный, рифма нормальная, поэтика на среднем уровне”... У Ахматовой искажается лицо, следует удар кулаком по столу, а вслед за ударом – красноречивая реплика:

– Это бандит! Это бандитизм!

Обрадованная ахматовской реакцией Чуковская пишет, что “Ложечко надо лишить права рецензировать рукописи за эту одну-единственную фразу”.

Я вспомнил эту несколько комичную сцену, в которой реакция двух писательниц на достаточно безобидного, безграмотного рецензента может показаться несколько неадекватной... И подумал о том, что приемы, применяемые О. Лекмановым и М. Свердловым, могут вполне быть квалифицированы с этой точки зрения как если не литературный бандитизм, то как ярко выраженное литературное жульничество.

* * *

Неустанные “разоблачения” Есенина авторами “Биографии” их самих заводят в безнадежный тупик. Честно говоря, читая иные пассажи книги, проникаешься невольным чувством жалости к биографам, чувством, смешанным с ощущением какого-то трагикомизма происходящего.

“Не только поэтика символизма, но и символистская концепция жизнестроительства уже оказывает существенное воздействие на молодого Есенина. Едва ли не впервые он всерьез задумывается о своем внешнем облике: теперь он хочет выглядеть *поэтом деревенской Руси*” (с. 55). Далее, со ссылками опять же на многочисленных мемуаристов, рисуется картина есенинского переодевания из “коричневого костюма” не то в “подержанную деревенскую поддевку”, не то в “крестьянскую рубашку” (с. 55–56). Здесь естественнее всего было бы вспомнить, что инициатором “костюмированного переодевания” Есенина был Сергей Городецкий – сам неустанный стилизатор и “жизнестроитель”... Но наших авторов не проведешь. В их интерпретации есенинская “стратегия” начинается аж в 1914 году.

“О том, что все эти переодевания были не случайными, а входили в продуманную есенинскую стратегию поиска своего образа, непровержимо свидетельствуют строки из письма Есенина к Марии Бальзамовой от 29 декабря 1914 года. Это юношеское письмо выглядит тем не менее как прозаический набросок к предсмертному есенинскому “Черному человеку”. Прямо называя своим жизненным руководителем поэта-символиста Федора Сологуба, Есенин с удивительной откровенностью, хоть и несколько рисуясь, обнажает перед Бальзамовой едва ли не основное свойство собственной личности: отсутствие подлинного нравственного стержня, позволяющее примерить на себя любые маски в стремлении во что бы то ни стало полнее и эффектнее выявить разнообразные грани своего таланта...” Далее следует цитата из письма, не оставляющая сама по себе камня на камне от этих глубокомысленных умозаключений: “Мое я – это позор личности, – пишет Есенин Бальзамовой. – Я выдохся, изолгался и, можно даже с успехом говорить, похоронил или продаю душу черту, и все за талант. Если я поймаю и буду обладать намеченным мною талантом, то он будет у самого подлого и ничтожного человека – у меня ... /.../”

*Хулу над миром я поставлю
И соблазняя — соблазню.*

Эта сологубовщина – мой девиз” (с. 56–57).

Думаешь с горьким смехом: да кто из нас в юности, неизбежно рисуясь, не писал подобных писем?! При чем здесь “Черный человек”? Тянуть к нему канат от этого юношеского письма – значит, безбожно фальсифицировать всю есенинскую творческую эволюцию. Цитировать, что “эта сологубовщина – мой девиз”, и комментировать эту цитату фразой “прямо называя своим жизненным руководителем поэта-символиста Федора Сологуба” – значит, не видеть или не желать видеть злой иронии Есенина над самим же Сологубом... И тут же следует тактический ход биографов: шаг вперед – два шага назад. “Не нужно, впрочем, забывать, что и к этому признанию следует отнестись с определенной осторожностью, как к о ч е р е д н о м у (выделено мной. – С. К.) есенинскому актерскому монологу” ... Дескать, мы – не мы и лошадь не наша, понимайте, как знаете. А далее – еще одна оговорка, указывающая на “органичные” есенинские черты, “неизменно притягивающие к Есенину союзников и просто сочувствующих” (с. 57).

Только что значат все эти отступления и оговорки по сравнению с главным тезисом, подчеркнутым, можно сказать, жирной чертой: “отсутствие подлинного нравственного стержня”? Тем более что в “ответе” Н. Шубниковой-Гусевой авторы настаивают на нем, как на одном из “китов”, на которых базируется их “Биография”. “Есенин – “профессиональный шармер” – одна из основных тем книги”. Неправда – это побочная тема, оттеняющая четыре основных: “сила есенинской поэзии”, “обаяние его личности” “отсутствие у него нравственного стержня”, “трагедия поэта”...” При том, что сами же приводят в книге текст письма Есенина к Анне Сардановской от июля 1916 года, в котором содержатся следующие, никак не комментируемые авторами строки: “Прости, если груб был с тобой, это напускное, ведь главное-то стержень, о котором ты хочешь маленькое, но имеешь представление” (с. 128).

Между прочим, содержание эти строки отталкиваются от строк письма Александра Блока Сергею Есенину от 22 апреля 1915 года: “...Путь Вам, может быть, предстоит не короткий, и, чтобы с него не сбиться, надо не торо-

питься, не нервничать. За каждый шаг свой рано или поздно придется дать ответ, а шагать теперь трудно, в литературе, пожалуй, всего труднее. Я все это не для прописи Вам хочу сказать, а от души; сам знаю, как трудно ходить, чтобы ветер не унес и чтобы болото не затянуло. . .” Это письмо Блока авторы приводят, опять же никак не комментируя, на с. 86, а на с. 370, “вспомнив” (их слова!) “улыбку больного умирающего Блока”, квалифицируют ее как свидетельство того, что “вывод сделан: Есенин уже за “недозволенной чертой”, его уже “затянуло болото”. . . И нет ни малейшего понимания (или аккуратно создается видимость этого “непонимания”), что в предсмертии 1921 года Блок уже отстранился от всего, прощаясь этой улыбкой со всей земной юдолью.

Итак, если слушать наших биографов, Есенин – человек, лишенный нравственного стержня. При этом чудовищный славолуб и, если угодно, гениальный стратег в выстраивании своего пути ради добычи этой самой славы (интересно, как одно может совмещаться с другим: стратег без твердого внутреннего стержня – не стратег). Доходит в полном смысле этого слова до анекдота. “Трудно предположить, что Есенин к началу марта 1915 года ничего не знал о клюевских контактах с Блоком: судьбой Клюева он, без сомнения, интересовался живо и ревниво” (с. 66). Где доказательства, где фактические подтверждения такого, если угодно, глобального стратегического сценария по проникновению в дом Блока следом за Клюевым? Одно-единственное: перефразировка строк Клюева в письме к Александру Ширяевцу. При том, что о знакомстве Есенина со стихами Клюева до есенинского приезда в Петроград писали не один десяток раз, на протяжении многих лет, не делая, естественно, из этого общеизвестного факта никаких смехотворных выводов. А то можно подумать, что Есенин какими-то таинственными путями вызнавал “тайну” переписки Блока и Клюева, добывал сведения об их встречах через третьих лиц и подстраивал под узнанное свои “славолубивые” планы.

Скажите, утрирую? А вы перечитайте еще раз эту замечательную фразу О. Лекманова и М. Свердлова (или кого-то одного из них) и скажите – какой можно извлечь из нее смысл?

А что касается “поэтики символизма”, то никто никогда не отрицал, что на первых порах Есенин испытал сильное влияние Блока – и сам писал о “благом косноязычии символизма” (хотя влияние Клюева было неизмеримо сильнее). . . Только не стоит здесь тенденциозно смещать акценты и – не стоит ли прислушаться к тому же Есенину, говорившему впоследствии:

“... Я этот “символизм” еще в школе мальчишкой постиг. И знаешь откуда? Из Библии. Школу я кончал церковноприходскую (на самом деле учительскую – но в ней преподавались закон Божий, церковная общая и русская история, церковное пение и, между прочим, как отдельный предмет – история раскола. – С. К.), и нас там этой Библией как кашей кормили. И какая прекрасная книжища, если ее глазами поэта прочесть! Мне понравилось, что там все так громадно и ни на что другое в жизни не похоже. Было мне лет двенадцать – и я все думал: вот бы стать пророком и говорить такие слова, чтобы было и страшно, и непонятно, и за душу брало. Я из Исайи целые страницы наизусть знал. Вот откуда мой “символизм”. Он у меня своим горбом нажит”.

А что касается общения со старшими символистами, то не следовало бы передергивать, утверждая, что “статьей Гиппиус о себе в “Голосе жизни” Есенин тогда явно гордился” (с. 79), и, цитируя Рюрика Ивнева, писавшего, что Мережковский и Гиппиус были “очарованы и покорены есенинской музой”, заключать, что якобы “это очарование, без сомнения, было взаимным” (с. 80). Никакой “очарованности” Есениным нет ни в статье Гиппиус, ни в ее позднейших воспоминаниях о нем. Что касается Есенина, то его дарственная надпись “гиппиусихе” “Доброй, но проборчивой. . .”, цитируемая биографами – не более чем знак дистанционного уважения к старшей и не противоречит по сути его словам, запомненным Владимиром Чернявским: “Глупая статья. Она меня, как вещь, ощупывает”. Не стоило ли привести здесь красноречивую цитату из письма Есенина к Н. Ливкину от 12 августа 1916 года: “Я знал, что перепечатка стихов немного нечестность, но в то время я голодал, как может быть, никогда, мне приходилось питаться на 3–2 коп. Тогда, когда вдруг около меня поднялся шум, когда мерещковские, гиппиус и Философов открыли мне свое чистилище и начали трубить обо мне, разве я, ночующий в ночлежке по вокзалам, не мог не перепечатать стихи, уже употр/ебленные/? Я был горд в своем скитании, то, что мне предлагали, я отпихивал. Я имел право просто

взять любого из них за горло, и взять просто сколько мне нужно из их кошельков. Но я презирал их и с деньгами, и с всем, что в них есть, и считал поганым прикоснуться до них. Поэтому решил перепечатать просто стихи старые, которые для них все равно были неизвестны. Это было в их глазах, или могло быть, тоже некоторым воровством, но в моих ничуть...” Именно эти обстоятельства жизни Есенина в Петрограде авторы “Биографии” блистательно проигнорировали. И уж тем более не стоило им придумывать несуществующего: “Имея на руках рекомендательные письма от Городецкого, Мурашева и Мережковских, Есенин предпринял стремительный рейд по редакциям петроградских литературных журналов и газет” (с. 80). Где, хотелось бы знать, эти “рекомендательные письма от... Мережковских”? Существуют ли они вообще? Их не было и быть не могло.

* * *

Авторы прилагают массу усилий, дабы представить Есенина вечным актером, меняющем на протяжении всей своей жизни маски и амплу. “Есенин взялся играть сразу несколько поэтических ролей, но никакую не превратил в целостный образ” (с. 50). “К роли пролетарского поэта-трибуна Есенина подталкивала прежде всего работа у Сытина” (там же). “Образ поэта-крестьянина, ненавистника города, певца сельских радостей и сельских невзгод с особым усердием отыгрывается Есениным в 1913–1915 годах” (с. 51). “К этому времени Есенин окончательно выбрал для себя амплу крестьянского самородка, интуитивно заговорившего на языке младосимволистов, отбросив другие, полусыгранные в Москве роли” (с. 61). “...Избрав определенный стиль поведения со своими новыми друзьями, Есенин продолжал отчасти лукавить...” (с. 83). “...Есенин, верный своему обычаю, и в этот период стремился не ограничивать себя единственной, пусть и на “ура” воспринимаемой ролью” (с. 94). Само собой, в ранних стихах Есенина они обнаруживают “лубочное псевдославянское стилизаторство” (с. 108), но не явно, а по принципу контраста: дескать, этого “стилизаторства” уже не было в стихотворении “Лисица”. А раньше, в предыдущих стихотворениях – где они его нашли?

И далее – в том же духе: “Еще не выйдя полностью из роли *Ивана-царевича*, Есенин принялся работать над своим новым образом, заимствованным, впрочем, все из того же “народного” репертуара, только не из сказки, а из разбойничьей песни. Поздней зимой и ранней весной 1916 года поэт впервые основательно примерил на себя маску *ухаря-разбойника*” (с. 119). К слову сказать, стихотворение “В том краю, где желтая крапива...”, цитируемое на этой же странице, было написано в 1915-м, и речь здесь в применении к Есенину должна была идти не о “смене масок”, а о духовной и душевной, внутренней эволюции, о расширении творческого мира, об овладении новым жизненным материалом – и это процесс органичный и мучительный одновременно. Но наши биографы знают этого не хотят и дуют в свою дуду: “Он словно пробовал на язык броские бодлеровские характеристики “падаль и гниль”, которым скоро предстояло прочно войти в есенинский поэтический обиход” (с. 128). Насколько прочно? Сколько раз эти слова повторяются в есенинских стихах? И неужели поэт не имел о них понятия без всякого Бодлера? “...Есенин не высказывал никакого неудовольствия или протеста в связи со своей ролью обласканного двором “поэта-самородка” (с. 139). Неужели? А как быть с письмом М. Мурашеву: “...Клюев со мной не поехал, и я не знаю, для какого он вида затаскивал меня в свою политику”? Проще всего сделать вид, что неизвестно, о какой политике речь – а ведь здесь завязывается самый сложный и драматичнейший узел, в котором скручиваются интересы и княгини Елизаветы Федоровны, и полковника Ломана, и князя Путятина... Но до реальной истории, до окружающей Есенина жизни авторам нет никакого дела. “Ведь как раз Есенин начиная с марта 1917 года будет настойчиво добиваться, чтобы его воспринимали в бунтарском ореоле” (с. 144).

И так, по сути, до конца книги. И, конечно, разговор о “революционном Есенине” не может обойтись без мемуарной статьи Ходасевича. То, что религиозный пафос Есенина был органически сопряжен с религиозным пафосом самой революции, для наших биографов – тайна за семью замками. Проще всего все объяснить Ходасевичем: “Говорить о *христианстве* Есенина было бы

рискованно. У него христианство не содержание, а форма, и употребление христианской терминологии приближается к литературному приему” (с. 157). “Но возникает вопрос, — комментируют Лекманов и Свердлов, — а является ли “формой” и не “приближается” ли “к литературному приему” также и есенинский языческий, мужицкий миф?” А дальше — великолепный проговор: “Об этом многое, наверное, могли бы поведать филологи формальной школы, вооружившись своими излюбленными терминами, такими как “мотивировка”, “искусство как прием”, “обострение материала”. Увы, формалисты явно недооценили внутреннего поэта: кто только не вдохновлял их на смелые концепции, вплоть до есенинского эпигона Василия Казина, но никак не сам Есенин” (с. 158). Да потому и “не оценили”, потому и “не поведали”, что он оказался этим книжным людям, более всего склонным заниматься “изучением не столько литературы как таковой, сколько вырастающей на ее почве литературной моды” (В. В. Кожин), не по зубам. Они понимали, в отличие от Свердлова и Лекманова (“А ведь именно Есенину парадоксы опоязовцев были бы как раз впору, в его творчестве и биографии они могли бы найти замечательное — и вовсе не тривиальное — подтверждение современности формального метода” — с. 159), что их инструментарий здесь окажется бессилён. Попробовали бы подойти они с ним к той же “Инонии” — тектоническому сдвигу в есенинском мироощущении, попробовали бы проанализировать эту вещь в контексте глубинной полемики с клюевской “Песнью Солнценовца”... Проще всего опять же “разоблачить” поэта, как это делают наши биографы: “В своем письме Есенин с яростью оспаривает значение Клюева, с пояснением: “Говорю Вам это не из ущемления “первенством” Солнценовца и моим “созвучно вторит...” (с. 173). Цитата обрывается, и читатель “Биографии” уже не в состоянии прочесть следующую: “...а из истинной обиды за Слово, которое не золотится, а проклевывается из самого себя птенцом...” Ибо речь идет о самозарождении того Слова, что “было у Бога и было Бог”, и сходит в новый мир, когда “прежнее небо и прежняя земля миновали”... Что до этого нашим авторам! У них свое: “...Гораздо труднее поверить этой оговорке, чем той гиперболе, с которой начинается “Инония”... Не “мы... подходим”, а “я пришел”, настало не “наше время”, а “мое” — вот под каким знаменем отныне ведет Есенин свою литературную борьбу” (с. 173). А вы поверьте, господа хорошие! Может, что и откроется!

Представлять дело таким образом, что “революция была необходима Есенину как поэту для “борьбы за литературную власть” и создания “нужной писательской атмосферы” (с. 159), значит необратимо исказить и путь Есенина, и суть самой эпохи, в которую он жил. То есть подменяет живую реальность искусственной субреальностью. Неоценимый, конечно, здесь материал для наших биографов — приключения имажинистов. Если предыдущий текст лишь “раскручивался”, то в “главе седьмой” он начинает “лететь”. Литературной борьбой, литературными счетами подменяется все. Нет ни гражданской войны, ни голода, ни мятежей, ни крестьянского восстания на Тамбовщине, ни переживания Есениным всего происходящего. А есть “Есенин-щеголь, Есенин-остроумец и Есенин-плут”, который даже “в этих ампулах... всякий раз оставался вторым” (с. 241). То, что не славы он добивался, если опять же перейти от “жизни” к “поэзии”, а еще большего “раздвигания зрения над словом”, совершенствования воплощения тайны мира в слове (“слову с тайной не обняться” — вот что было настоящей причиной его “тоски”) — авторы знать не хотят. И уже не приходится удивляться, что в “Сорокоусте” “добросовестных” биографов “поражает... даже не столько “непечатность” крепких выражений, сколько их внезапность и немотивированная агрессивность” (с. 247). Жизнь самой России того времени для них просто не существует — как тут не сделать вывод о “немотивированности” ругательств, по которым в начальных строфах авторы аккуратно проходятся, оставляя весь смысл этой небольшой трагической поэмы “за кадром”... Кстати, могли бы сопоставить цитируемые строчки “Вы, любители песенных блох, не хотите ль пососать у мерина” с посвящением “Сорокоуста” Мариенгофу, который в этом контексте и оказывается “любителем песенных блох”... Тут хочешь, не хочешь, а вспомнишь написанное о Есенине Юрием Домбровским:

“... Я бы близко не подпускал к нему некоторых его друзей, этих чудовищных снобов, которые, одурев от тщеславия, солнце хотели заменить клизмой с розовым лекарством, между “мочой” и “зарей” ставили знак равенства и

выдавали это за внутреннюю покорность творческому закону... Так нагло, так хамски изъяснялись перед всем миром — и это когда! Надо бы драть нещадно за уши тех, кто в тяжелые часы Родины с милой непосредственностью предлагается хохмочкам и высасывает из пальца новые формы”.

Но у наших авторов Есенин никак не выделяется из сообщества “чудовищных снобов”, более того, начальные строки “Сорокоуста” на с. 247 тут же сопоставляются с отвратнейшей “продукцией” Шершеневича, которую я просто не хочу цитировать... Сам же Есенин, оказывается, “начинает браниться с ходу без видимого повода” (с. 248). Надо же, какой хулиган! Значит, туда ему и дорога... “Хулиганство Есенина, таким образом, выламывалось из практики тогдашнего литературного эпатажа: оно было до того “подлинным” (кавычки хороши, не правда ли? — С. К.), до того “черноземным”, что ассоциировалось с хроникой происшествия и милицейским протоколом” (там же). И нет ни поездки Есенина в Ташкент, ни его встреч и бесед с Александром Ширяевцем, ни принципиальнейшего письма к Иванову-Разумнику от мая 1921 года. Есть многостраничные рассуждения о том, чем имажинисты отличались от футуристов, и, само собой разумеется, нет никакого разговора о статье “Быт и искусство”, которую, очевидно, авторы считают то ли “неудачей”, то ли “тупиком”. А к месту было бы процитировать:

“У собратьев моих нет чувства родины во всем широком смысле этого слова, поэтому у них так и не согласовано все. Поэтому они так и любят тот диссонанс, который впитали в себя с удушливыми парами шутовского кривляния ради самого кривляния”.

Или это тоже “немотивированная агрессивность”?

Там же, где речь заходит о “Пугачеве”, мы сталкиваемся, в общем-то, с ожидаемым:

“Есенинская драма — это апофеоз театрализованного стиха. Подобно Маяковскому с его трагедией, Есенин мог бы назвать “Пугачева” своим именем, но и без этого здесь в одном лице соединились — автор, герой, актер” (с. 352).

На все подобные “глубокомысленные” и “добросовестные” умозаключения ответил сам Есенин еще при жизни в разговоре с Владимиром Кирилловым:

“Я сказал, что Пугачев говорит на имажинистском наречии и что Пугачев — это сам Есенин. Есенин обиделся и сказал: — Ты ничего не понимаешь, это действительно революционная вещь. — Говорил он очень характерно, подчеркивая слова замедлением их произношения”. Подчеркивал — революционность мировоззренческую, поэтическую, театральную. И ясно дал понять, что не нацеплял он на себя в этой трагедии никаких “масок” и не подменял героев собой.

Ну да наших биографов не проведешь! Весь пафос их биографического сочинения в том, что не Есенин владел своим талантом, а талант владел им, “человеком без стержня”, и влек его за собой в пропасть — к милицейскому протоколу и дальше: “. . . С каждым годом есенинская внутренняя природа, ну, тро, все больше будет подражать его стихам, все ближе будет к их “нервическому вывиху”, к их “висельному” пафосу...” (с. 372).

Ничего удивительного и в том, как Лекманов и Свердлов подают историю с “делом четырех поэтов”. Само собой разумеется, главный виновник происшедшего — Клюев, а главные свидетельницы — Галина Бениславская и Анна Назарова. Впрочем, “вспышка есенинского антисемитизма была инициирована общением не только с Клюевым, но и с другими крестьянскими поэтами” (с. 480). Об этом же писал в своей мемуарной книге “Все, что помню о Есенине” и Матвей Ройзман, на которого авторы многократно ссылаются на протяжении “Биографии” и чей мемуар в свое время подвергся жесткому, основательному и доказательному разгрому со стороны В. В. Базанова (“Свидетельство очевидца и память истории”, “Русская литература” № 1, 1976) за те же передергивания, ложь и элементарное дремучее невежество.

“Некоторые защитники репутации Есенина совершенно напрасно пытаются представить Родкина лжецом и доказать, что никакой антисемитской подоплеки в деле четырех поэтов не было...” (с. 482). Положим даже, что была — но в чем ее причина? В “нашептываниях” Клюева? Интересно — кто кому и что “нашептывал” в рабочей, крестьянской, интеллигентской, духовной среде в этот же период, когда в ГПУ пачками, томами, ящиками стекались доносы

“о проявлениях антисемитизма”?.. С минимальным, очевидно, числом подобных донесений авторы могли бы ознакомиться, открыв один из сборников серии “Неизвестная Россия”. Как мог бы ознакомиться с ними и Валерий Шубинский, охарактеризовавший в своей статье “Битва мифов” (“Новое литературное обозрение” № 1, 2008) “Биографию”, как “не просто лучшую биографию Есенина, но, возможно, лучшее из того, что вообще было написано о поэте”. Нашей биографии, вышедшей в серии ЖЗЛ к тому времени пятью изданиями (не считая других выпусков), он посвятил две колонки журнального текста, из которых одна — целиком о “еврейском вопросе” (как заклинито!), да еще с утверждением: “Разумеется, “дело четырех поэтов”... вырастает чуть ли не в главный эпизод есенинской биографии” (сущее вранье! “Делу четырех поэтов” уделено в общей сложности с описаниями всех последствий 14 страниц из 70, составляющих одну главу из двенадцати — “Роковой вопрос”, то есть 14 из 590 страниц всей книги). Более того, намеки Шубинского приобретают весьма интересные оттенки, чуть ли не на грани криминальных: “Для Куняевых, в силу их собственных взглядов, невозможно объяснить слова Есенина: “... зачем в русскую литературу лезут еврейские и другие национальные литераторы, в то время когда мы, русские литераторы, зная лучший язык и быт своего народа, можем правильно отражать революционный опыт” — проявлением случайного настроения, а нетрезвые крики про “жидов” — симптомом душевной болезни. Для них это сознательная (и правильная) и идеологическая демонстрация”. Прежде всего, для нас это “дело” было эпизодом, который существует не сам по себе, а в контексте времени, в атмосфере эпохи, в прямой связи с происходящими событиями — от беседы Есенина с Троцким в Кремле и до раскрытия “заговора русских фашистов” во главе с Алексеем Ганиным. Исторического контекста, ни в данном случае, как мы убедились, ни в других не существует ни для Лекманова со Свердловым, ни для Шубинского. Проще всего списать происшедшее на “случайное настроение” и “душевную болезнь”*.

Между прочим, наши “добросовестные” биографы могли бы повнимательнее отнестись к воспоминаниям Анны Назаровой, которая начинает свои описания с мучений, испытанных при тщетных попытках получить для Есенина хотя бы одну комнату в это же время в Москве — как постоянную жилплощадь. “... Зачислить в очередь на ноябрь”. Я была в сентябре. Я начала воз-

* К вопросу о квалификации самого Шубинского. В статье “Битва мифов” он раздаёт безоговорочные оценки не только книгам о Есенине, но и книгам, посвящённым Николаю Клюеву, в контексте рассуждений об исследовательской традиции или “анти-традиции” (в литературе о Есенине — он убеждён — сложилась “анти-традиция”, порождённая “ненужной “народной” славой”)... Сам же взялся писать предисловие к “Избранному” Клюева, вышедшему в издательстве “ОГИ” в 2009 году. И что же мы в нём читаем? “Чем, собственно, занимался поэт до 23-летнего возраста, когда началась его литературная деятельность, толком неизвестно”. 23 года Клюеву исполнилось в 1907-м, первая публикация относится к 1904 году и, начиная с 1905-го, основные вехи клюевской биографии уже давно стали достоянием исследователей. Елена Добролюбова превращается у Шубинского в “Елизавету”. Вопреки утверждению нашего “знатока”, Брихничев не печатал статьи “Новый Хлестаков” ни в какой “Новой жизни” (которую Шубинский, очевидно, перепутал с “Новой землёй”), а распространял в списках по рукам. “Рождество избы” “знаток” лёгким движением пера (или “мыши”) превращает в некое “Рождение избы”. Не делал Клюев ничего, “чтобы избежать призыва” на 1-ую мировую войну — он был освобождён по состоянию здоровья. Никогда не ходил он “в сермяге” и не принадлежал ни к каким фантастическим “поэтам-модернистам из крестьян”. Не “учил” Клюев Есенина “циничным приёмам”, и не была Елизавета Феодоровна “настоятельница” Марфо-Мариинской обители. В РКП Клюев вступил не “в 1917 году”, а годом позже. Не “коллекционировал” он “областные слова” — языком, на котором писал стихи, владел с младенческих лет, ибо слышал вокруг себя эту живописную речь ежедневно. Нет у Клюева книги “Земля и поле” — есть книга “Изба и поле”. На странице 8 предисловия “знаток” вообще путает Клюева с Кузминым, а дальше сообщает о наличии поэмы “Повесть о великой матери” (на самом деле — “Песнь о великой матери”). Надо было умудриться не заметить имени Сергея Клычкова в стихотворении “Клеветникам искусства” и каким-то чудодейственным образом обнаружить клюевские публикации в “Известиях” и “Новом мире”, где поэту якобы “удалось напечатать халтурные “Стихи из колхоза”...” Во-первых, эти стихи — не халтура, во-вторых — напечатаны они были в журнале “Земля советская”. Колпашево невозможно назвать “деревней”, как это делает Шубинский... В общем, наш “эксперт” из “НЛО”, написав сие предисловие фактически “левой ногой”, сел в такую лужу, что, думается, потерял моральное право на какие-либо оценки историко-литературных трудов в будущем.

ражать и доказывать, что до ноября Е/сенин/ умрет от такой жизни. Сторговались на октябрь. Заплатила 100 т/ысяч/ и ушла. Прошел октябрь, и на все мои запросы, очень частые, получала один ответ: нет площади. А в это время в этом же районе — я знала 3-х лиц, получивших прекрасные комнаты, а нуждавшихся в них в 100 раз меньше, чем Е/сенин/. Но... они были “ответственные работники”, и для них площадь нашлась...”

Галина Бениславская сделала на полях приписку, что двумя из этих трех были некто Сергеев и Марцелл Рабинович, один из есенинских прихлебателей этого тяжелого полугодия по возвращении поэта в Москву, пивший и гужевавшийся в компании за его счет... Можно только представить себе реакцию Есенина: для Рабиновича в Москве есть жилплощадь, а для него, русского поэта — нет (так и не было до конца жизни). Всего этого для Лекманова и Свердлова попросту нет в природе (хотя пишут “Биографию”, а не книгу, специально посвященную поэзии), также как не существует для них ключевых слов Есенина этого времени, сохраненных Галиной Бениславской: “Поймите, в моем доме не я хозяин, в мой дом я должен стучаться, и мне не открывают... Это им не простится, за это им отомстят. Пусть я буду жертвой, я должен быть жертвой за всех, за всех, кого не пускают. Не пускают, не хотят, ну так посмотрим. За меня все обозлятся. Это вам не фунт изюма. К-а-к еще обозлятся. А мы все злые, вы не знаете, как мы злы, если нам обижают. Не тронь, а то плохо будет. Буду кричать, буду, везде буду. Посадят — пусть сажают — еще хуже будет. Мы всегда ждем и терпим долго. Но не трожь. Не надо”. Это что — тоже “фобия” и “неврастения”? Или “мания преследования”? Или “притворство”? Или “поза”? Или — “прием”?

* * *

Справедливости ради надо сказать, что временами авторы меняют тон, словно забывая обо всех “масках” и “амплуа”, и начинают воздавать Есенину должное по-настоящему. “В Есенине удивительным образом сочетались почвенность (“песенно-есенинское” — “коренное”, “родовое”) и крылатость (“амурно-лирическое” — “моцартовская стихия”); “балалаечник” на самом-то деле был русским Орфеем” (с. 345). “Есенин был одним из немногих в XX веке чистых лириков. В его стихах оживает слово “песнь”, восстанавливается исконное единство музыки и слова. Своей завораживающей властью над слушателями — прежде всего над слушателями, а затем над читателями — он напоминает мифологических “певцов”. От погруженности Есенина в эту древнюю стихию лиризма — отмеченная уже первыми рецензентами “слитность звука и значения” в его стихах, отсюда же — поразившее современников есенинское единство песни и судьбы” (с. 585). Читаешь это — и непонятно, как относиться к данным высоким словесам. Как к притворству ради кажущейся “объективности”? Или авторы так думают на самом деле, и тогда им не остается ничего другого, как вышвырнуть вон из книги все страницы, заполненные описанием есенинского “притворства” и есенинских “амплуа” (и в поэзии, и в жизни)? Как совмещается одно с другим?

Самое интересное, что наши биографы, словно опытные мичуринцы, нашли способ “совмещения”. Как им показалось, они отыскали к Есенину самый надежный ключ, который на поверку скорее напоминает воровскую отмычку. “Ключом к тому периоду биографии Есенина, о котором пойдет речь в этой и следующей главах (речь идет о 1923–1925 годах. — С. К.), может послужить метафора, положенная в основу повести Р. Л. Стивенсона “Странная история доктора Джекила и мистера Хайда”... В мемуарах о Есенине, относящихся к 1923–1925 годам, многократно запечатлено почти волшебное превращение из “доктора Джекила” в “мистера Хайда” (с. 463–464).

При этом авторы, как на первоисточник, ссылаются на воспоминания А. Ветлугина, который, будучи прямым человеческим антиподом Есенина (о чем свидетельствует его письмо к поэту, написанное в 1923 году — и об этом письме в “Биографии” также ни слова!), неудачно пытается рассуждать о “развосьмерении личности, раздесятировании личности”, бросает свою “тему” и тут же перескакивает к другой: “Но в приложении к Есенину приходится говорить не столько о “Джекиле и Гайде”, сколько о предсмертном кошмаре Глеба Успенского”. И этот “кошмар” не имеет к Есенину никакого отношения.

Просто Ветлугин делал попытку раскрыть человеческий образ того, с кем общался на протяжении довольно продолжительного времени – но тщетно.

Никакой “тщеты” наши биографы здесь не испытывают. “Джекил и Хайд” путешествуют по дальнейшим страницам “Биографии” с завидным постоянством: где гениальный поэт – там “Джекил”, где “неврастеник”, “алкоголик”, “человек без нравственного стержня” – там “Хайд”. Уникальная способность Есенина в мгновение ока сбрасывать с себя “мрачную тень”, его удивительная внутренняя пластичность, умение гениально сыграть перед озлобленным, завистливым, ничего не понимающим “сообществом” безвольное существо, одурманенное алкогольными парами (при том, что алкоголь, действительно, временами употреблялся для сброса ежедневного адского внутреннего напряжения, единственная разрядка которого была в творческом процессе – и это оказывало свое губительное действие в силу определенных природных свойств есенинского организма) – все это, вместе взятое, представляющее собой сложный, многослойный, многодонный психологический портрет героя “Биографии”, оказывается нашим авторам не по зубам. Аналогией “Джекил-Хайд”, призванной разделить непреходимой чертой поэта и человека, авторы фактически расписываются в собственном бессилии, пытаются рассуждать о некоем “трагическом двойничестве” поэта. Здесь как раз в пору отнестись к ним самим упрек в “примитивизации на всех уровнях” – и человеческом и поэтическом, и историческом – который они попытались предьявить Н. И. Шубниковой-Гусевой.

Тем более что эта аналогия взята ими на самом деле не у А. Ветлугина, у которого она дана “в проброс”. На этой аналогии попытался выписать основательный портрет Павла Антокольского Василий Бетаки в книге “Русская поэзия за 30 лет, 1956–1986” (Orange, 1987). Но то, что было плохо применимо даже к Антокольскому, естественно, оказалось совершенно неприменимым к Есенину.

* * *

Само собой разумеется, что тайна гибели Есенина не является для О. Лекманова и М. Свердлова никакой тайной: все совершенно очевидно – самоубийство. “Ни в одном из хоть сколько-нибудь заслуживающих серьезного внимания свежих откликов на самоубийство Есенина, опубликованных в Советском Союзе и за рубежом в 1925 году, тема насильственной смерти поэта не поднималась: столь очевидными всем современникам, осведомленным и неосведомленным, представлялись главные обстоятельства есенинской гибели. Но и потом, вплоть до второй половины 1980-х годов, не только в советской подцензурной, но и в западной свободной печати о насильственном устранении Есенина никто не заговаривал” (с. 550). После столь категорического утверждения далее следует не менее категорическое: **“Почему заказ на убийство поэта был сделан лишь спустя шестьдесят лет после смерти Есенина, в горбачевскую эпоху? Потому что именно в те годы вышел на поверхность миф о заговоре против русского народа”** (там же. Здесь и далее выделено мной. – С. К.).

Интересно, кто “в горбачевскую эпоху” делал этот “заказ” – может быть, авторы знают и при случае назовут имя “заказчика”? Что понимают они под словами “миф о заговоре против русского народа”? Никакого “заговора”, соответственно, не было ни на протяжении всего XX века, ни на протяжении предыдущей истории? И ничего не вышло “на поверхность” ни в 1920-е, ни в 1930-е, ни в 1940-е годы? Какая-то странная, алогичная “логика”... А что касается “осведомленных и неосведомленных современников”, которым “все представлялось очевидным”: откуда ноты страха и недоумения в письме Ивана Касаткина к Ивану Вольнову: “У меня масса догадок о его конце. И ни одного реального. Тьма!” ... Откуда несогласие с официальной версией у Сергея Клычкова: “Я тут же по свежим следам обследовал сам это дело. Я нашел тогда человека, который вернулся в смежный с Есениным номер в 3 часа ночи... А Сергей не мог убить себя, не мог!” (по воспоминаниям Виктора Ардова)? Не правда ли, интересно? Особенно интересным может оказаться пока несуществующий ответ на вопрос: кто же этот таинственный человек, имени которого так и не назвал Клычков?

Теперь насчет того, что “в западной свободной печати о насильственном устранении Есенина никто не заговаривал”. Очевидно, авторы “Биографии”

не знакомы с книгой Михаила Бойкова “Люди советской тюрьмы”, изданной в Буэнос-Айресе в издательстве “Сеятель” в 1957 году. Среди многочисленных описаний хождений автора по мукам в застенках пятигорского и ставропольского НКВД есть и такой эпизод: в ставропольской тюрьме М. Бойков попадает в камеру “настоящих” — то есть настоящих “врагов народа”, теми или иными способами боровшихся против советской власти, теми, кто знал, за что они сидят, и пощады не ждавших. Среди “настоящих” были и так называемые “есенинцы”.

“Из всех “настоящих” наиболее симпатичны мне двое молодых русских ребят: Витя и Саша. Оба студенты второго курса Ставропольского педагогического института. Арестованы всего лишь две недели тому назад, и розовая свежесть их щек только слегка тронута сероватой тюремной желтизной, а юношеская бодрость и горячность не подавлена апатией и медленно-ленивым ступением заключенных.

Они дети кадровых рабочих местного маслобойного завода и бывших красных партизан гражданской войны, но советскую власть ненавидят, а своих отцов не любят.

— За что? — спросил я их.

— А за то, что эта проклятая власть вместе с нашими батьками довела до смерти Сережу, — ответил Витя.

— Какого?

— Есенина, — дополнил его ответ Саша.

— Но при чем здесь ваши отцы? — удивился я.

— Ну, как же. Они воевали за власть убийц Сережи, — сказал Саша.

— На свою голову, — бросил Витя...

В институте он руководил одним подпольным литературным кружком, а Саша был его ближайшим другом и помощником. Более 30 юношей и девушек, тайком от других студентов и своих родителей, изучали жизнь и творчество своего любимого поэта. Заучивали наизусть и декламировали его стихи и сами писали “под Есенина”. На тайных “читках” по квартирам и на прогулках в пригородных лесах горячо спорили о нем, искали и в большинстве случаев находили ответы на до того не разрешенные ими вопросы его жизни и творчества. Один из вопросов, больше всего вызывавший споров, ни никак не могли разрешить: покончил самоубийством или убит Сергей Есенин?

Некоторые приводили факты, подтверждающие самоубийство поэта, другие фактами же опровергали их и заявляли:

— Энкаведисты могут подделать любой факт.

День за днем накапливался в кружке антисоветский “литературный динамит” и, наконец, взорвался.

Преподаватель литературы, коммунист, читая на втором курсе института лекцию о Владимире Маяковском, помянул Есенина весьма недобрыми словами.

— Не позорьте нашего любимого поэта! — вскочил с места возмущенный Витя.

— Долой клеветников! — крикнул Саша.

Их поддержали “есенинцы”, которых в аудитории было десятка полтора. К последователям и последовательницам погибшего поэта присоединились и несколько студентов, не состоявших в кружке. Багровея от натуги, преподаватель литературы старался перекричать протестующую молодежь:

— Прекратите бунт! Или я вызову НКВД! Это антисоветская агитация!

— Агитация будет впереди! Вот слушайте, — подбежал к нему Саша и начал декламировать свое стихотворение, посвященное Есенину:

— Нас тоска твоя нынче гложет,
Как тебе, всем нам жить невесело.
Ты дошел до веревки, Сережа!..
А быть может, тебя повесили?..

Эти “контрреволюционные” слова привели в ужас преподавателя-коммуниста, и он, громко икнув от страха, выбежал из аудитории. Студенты и студентки, забаррикадовав столами входную дверь, продол-

жали “бунтовать”: демонстративно читали антисоветские стихи Есенина и свои, посвященные ему.

Через полчаса к педагогическому институту подкатило несколько “черных воронок”. Энкаведисты, взломав дверь, ворвались в аудиторию и всех находившихся там арестовали. Под прицелом винтовок их сковывали наручниками попарно, избивая при этом рукоятками наганов, отводили к автомобилям и вталкивали внутрь огромных черных кузовов...

Перед самым концом “ежовщины” Витя и Саша были расстреляны, а все остальные “есенинцы” приговорены к большим срокам заключения в концлагерях”.

Это к вопросу о том, как (утверждают наши биографы) “в мифологическом сознании по любому поводу разыгрывается борьба между силами света и тьмы” (с. 553). Можно подумать, что она вообще не разыгрывается в самой жизни! К ее “розыгрышу” авторы на протяжении всей книги прикасались не один десяток раз, но даже не попытались сделать надлежащие выводы. Не говоря уже о том, как “аккуратно” используются ими цитаты из буквально “кричащих” материалов. “. . .”Комсомольская правда”... продолжила и еще ужесточила курс на вытеснение Есенина из советской литературы, начатый статьями Сосновского. . . Как это часто случалось и раньше и будет случаться впоследствии, методы поверженного идеологического противника легко брались на вооружение и использовались даже тогда, когда само его имя становилось неудобным для упоминания”, – так биографы комментируют выдержку из статьи Д. Бухарцева “Где Хавронья” (с. 573). В этой статье, между прочим, за 10 лет до ареста “есенинцев”, которых описывает М. Бойков, автор “Комсомолки” описывал диспут о “есенинщине” в клубе 2-го МГУ и выступление на нем студента географического факультета Беркова. Выдержки из его выступления на самом диспуте и на другом собрании (опять “ненужные жизненные реалии”) наши биографы проигнорировали, а они – самое интересное, что есть в этой статье.

“Занимайтесь в “Комсомольской правде”, – иронизировал Берков, – китайскими делами и оставьте литературу в покое”.

Знал ведь, что говорил, молодой человек – и дело ведь говорил. Видел он собственными глазами этих грозных комсомольцев, потрясавших текстами Бухарина и Сосновского (прекрасно в 1927 году упоминаемого, без малейших “неудобств”), чей художественный вкус по сути ничем не отличался от художественного вкуса заурядного нэпмана.

Но Бухарцев продолжал свое:

“Нэпман тоже хочет жить. Он хочет усладиться патриархами Кончаловского, религиозными концертами, “Днями Турбиных” и, черт возьми, литературой. . . Но они не только обороняются, они и наступают. . .”

Сам Берков проявляет себя не только на поприще литературной критики, он занимается общественно-бытовыми вопросами. Берков является на собрание комсомольской ячейки, где преподносит блестящий совет в области борьбы с антисемитизмом.

– Пусть, – говорит он, – евреи-комсомольцы и евреи-партийцы не выступают нигде и не проявляют себя, тогда и пропадет антисемитизм.

Этот совет не слишком оригинален. Еще в царское время черносотенные губернаторы во время волны еврейских погромов вызывали к себе “почтенных евреев” и предлагали им повлиять на еврейскую молодежь, чтобы она не “мешалась” в революцию. Этот чисто черносотенный шовинистический сюжет, нисколько не подновленный даже, преподносит советский студент.

Борьба с “есенинщиной” должна послужить стержнем для идейной борьбы честного советского студенчества со всеми видами и способами контрбандного проникновения ростков враждебной идеологии”.

Честно говоря, хотелось бы узнать о дальнейшей судьбе неведомого мне Беркова, трезво, основательно и точно, судя даже по этому “отчету”, выступавшему на диспутах, тем паче что был он такой не один.

. . . Этот принцип – игнорирование всей неудобной им фактологии – авторы “Биографии” с особой энергией задействуют в последних главах книги. Тщетно было бы ожидать от них, цитирующих отдельные отрывки в других местах из сцены последней встречи Есенина с А. Тарасовым-Родионовым, изложения или дословного приведения реплик Есенина о телеграмме Каменева

Великому Князю Михаилу, якобы хранившейся у поэта. Тщетно было бы в обилии приводимых цитат обнаружить добросовестно воспроизведенные реальные нестыковки в фактических обстоятельствах трагедии, никак не работающие на версию самоубийства. Тщетно ожидать хотя бы самой элементарной добросовестности.

Так, не доверяя Георгию Устинову, утверждавшему, что Есенин в последний день “был совершенно трезв”, авторы приводят, как контрцитату, свидетельство Лазаря Бермана, “посетившего поэта в этот же день несколько раньше” (с. 538): “Вдоль окна тянется длинный стол, в беспорядке уставленный разными закусками, графинчиками и бутылками... В комнате множество народа, совершенно для меня чуждого. Большинство расхаживало по комнате, тут и там образуя отдельные группы и переговариваясь. А на тахте, лицом кверху, лежал хозяин сборища Сережа Есенин в своем прежнем ангельском обличи. Только печатью усталости было отмечено его лицо. Погасшая папироса была зажата в зубах. Он спал”.

Вся логика авторов рушится, словно карточный домик, если мы обратимся к хорошо известному им тексту дневника Иннокентия Оксенова, из которого следует, что Берман посетил поэта совсем не “несколько раньше” Устинова, а позже всех остальных известных нам поименно гостей: “Из разговоров трудно понять, как провел Есенин свой последний день. Слухи такие: будто он был трезв, Эрлих ушел от него в 8 ч., но вечером у него был Берман, видевший Есенина пьяным”. То есть Берман пришел тогда, когда в номере не было ни Устинова, ни Эрлиха, ни кого-либо еще из знакомых ему людей, зато в номере было полно “народа чуждого”. Своеобразным и жутким подтверждением происходившего может послужить свидетельство Николая Клюева, рассказавшего обо всем художнику Николаю Минху по горячим следам, в отличие от Бермана, написавшего свои воспоминания через много десятилетий.

“... – Вечером накануне его смерти меня точно кто толкнул к нему. Пошел я к нему в гостиницу. В “Англетер” этот. Гляжу, в номере дружки его сидят. На столе коньяки, закуски. На полу хлеб, салфетки валяются. Кого-то, видать, мутило. В свином хлеву чище! Ох, думаю, зря пришел! Дружки его увидели меня и, как жеребцы, заржали: “Кутя пришел! Кутя!” Я их спрашиваю: “Сереженька-то где?” А они толкать меня в дверь зачали. “Иди, – говорят, – старик! Иди! Он ушел и придет не скоро. Баба его увела”.

А на кровати, смотрю, вроде человек лежит. Одеялом с головой укрыт. Храпит вроде. Я хотел было глянуть, кто это, да они меня не допустили. Взащей вытолкали... А наутро слышу: Сереженька повесился!..”

Все это происходило в номере Есенина 27 декабря после 8 часов вечера, после ухода Эрлиха – вплоть до 11 вечера, когда раздался телефонный звонок в квартире коменданта “Англетера” Назарова с известием, что с его постояльцем “несчастье”, как рассказывала в конце 1980-х годов его вдова – Антонина Львовна Назарова (может, и ей был сделан соответствующий “заказ”?)... А какой “заказ” был сделан Клюеву, которого попросту не допустила пирующая компания к лежащему, укрытому с головой Есенину (был ли он еще жив в эти минуты? И слышал Клюев “храп” или предсмертный хрип?)... И что могло бы произойти с самим Клюевым, если бы он все-таки поднял пальто с головы друга?.. И кого же это так “мутило”, у кого не выдержали нервы? А самое главное – кто они, пришедшие тем роковым вечером в 5-й номер “Англетера”, чьих имен мы не знаем по сей день?

Похоже, не только отвечать на эти вопросы – даже ставить их себе наши “добросовестные” биографы не намерены.

В отличие от Константина Азадовского, который, отнюдь не являясь сторонником версии насильственного лишения Есенина жизни чужой рукой, тем не менее ставил в предисловии к мемуарам Нины Гариной (“Звезда” № 9, 1995) ряд вопросов, связанных с супругами Устиновыми, далеко не “очевидного” характера. “Именно Устинов и его жена – единственные реальные очевидцы! (уже из слов Клюева мы знаем, что это не так! – С. К.) – сделали, в сущности, невозможным любое криминальное расследование, ограничив свои показания и воспоминания о случившемся 6-ю или 7-ю часами вечера и теми утренними часами, когда в гостинице появился Эрлих – посторонний, ни о чем не подозревающий “свидетель”, в присутствии которого было всего естественней позвать коменданта и войти в 5-й номер. (Оба они к тому времени уже знали или догадывались о развязке.) ... Нет, Устинов, по существу, не

лжет, но явно недоговаривает, ничего не сообщая о том, что естественно ожидалось бы в такой связи: как узнал он о самоубийстве, какими были его первые действия, кто извлекал Есенина из петли... Почему? Разве он, профессиональный литератор, был не в состоянии дописать еще несколько строк? И еще вопрос: почему понадобилось привлечь к этому Елизавету Алексеевну Устинову?.. Воспоминания Устинова и его жены близки не только по содержанию, но и – как видится – стилистически. Так можно ли поручиться, что Елизавета Алексеевна писала самостоятельно, что ее воспоминания не отредактированы Георгием Устиновым или, по крайней мере, не согласованы с ним?.. Так кто же все-таки первым вошел в 5-й номер “Англетера” (имеется в виду утро 28 декабря. – С. К.) – Елизавета Устинова с Эрлихом?.. Или Георгий Устинов с Назаровым? Откуда мог “вернуться” Устинов к 11 часам утра? Со службы? Но в его печатных воспоминаниях нет ничего подобного... А может быть, задача Устиновых в том и состояла, чтобы затенить дело? Сказать что-то, не прояснив ничего?! Упомянуть о частностях (не слишком заботясь даже о том, чтобы они совпадали), но умолчать о главном – о ночных обстоятельствах? Если цель их была такова, то они, бесспорно, ее достигли”.

Как-то даже нехорошо получается. Константин Азадовский числится “научным редактором” рассматриваемой “Биографии”. По ходу дела возникает вопрос – как же ее “редактировал”? И откуда такое пренебрежительное отношение авторов к одной из самых содержательных работ своего “редактора” – “Последняя ночь”? Я не случайно привел эту пространную выписку из публикации Азадовского, на труды которого не единожды ссылаются М. Свердлов и О. Лекманов и именно по публикации исследователя в “Звезде” приводят цитату из Лазаря Бермана. Но ни на один из этих вопросов, заданных Азадовским, они даже не пытаются ответить и, естественно, полностью игнорируют его в “Эпilogue”, где с лихостью необыкновенной разделяются с другими авторами, якобы работавшими под таинственный “заказ”, смешивая в одну кучу серьезных исследователей с несерьезными дилетантами и не гнушаясь прямой фальсификацией: “Гневно клеймил “лицемерие и звериную сущность большевистских мани-лейб” и Сергей Каширин, автор по-своему захватывающей книги “Черная нелюдь. Легенда и документы об убийстве Сергея Есенина”. Более осторожные и утонченные сторонники *версии* об убийстве Есенина, например Станислав и Сергей Куняевы, предпочитали высказываться аккуратнее. Но и их с головой выдавал выбор на роль руководителя заговора против Есенина “зловещей фигуры Лейбы Бронштейна-Троцкого” (по чеканной характеристике Сергея Каширина)” (с. 553–554). Вообще-то говоря, интереснейшее положение, в котором приходится отвечать за чужую цитату, за цитату автора, книги которого ты не знаешь и которого в глаза не видел... Но тут момент еще более любопытный.

Как говорил в таких случаях Александр Солженицын: “Назовите страницы, лгуны!” Мы поступим деликатнее и попросту спросим наших “добросовестных”: где, на какой странице главы “Последние дни” нашей книги “Сергей Есенин” фигурирует Лев Троцкий как “руководитель заговора против Есенина”? Будь у нас документальные доказательства подобного утверждения – мы бы не преминули их привести. А так – подскажем “добросовестным” фальсификаторам: Троцкий упоминается в этой главе как отец своего сына Льва, увлечению которым “дала волю” Галина Бениславская; как фигурант письма Максима Горького Бухарину; как тот, кого заменил Фрунзе на посту наркомвоенмора; как персонаж стихотворения Пимена Карпова “История дурака”; в цитируемых А. Тарасовым-Родионовым словах Есенина: “Я очень люблю Троцкого, хотя он кое-что пишет очень неверно...” (и иную газету с писаниями Троцкого Есенин вполне мог скомкать и кинуть себе под ноги, например, номер “Правды” со статьей “Искусство революции и социалистическое искусство”); как участник закрытого заседания Исполкома Коминтерна 13 декабря 1926 года; и, наконец, упоминается “нежная по тону и совершенно крокодильская по сути поминальная статья Троцкого, который объявил Есенина не соответствующим “эпичной, катастрофичной эпохе” как бы со слезой в голосе”. Менять характеристику этой статьи у меня нет ни малейших оснований.

... На самом деле, воюя с многочисленными “есенинцами” в “Эпilogue”, наши биографы попадают в парадоксальный, невольный, но совершенно логично выстроенный ими самими капкан. Пылая праведным (и абсолютно справедливым!) гневом по адресу романа В. Безрукова “История одного

убийства” и телесериала, снятого на его основе, они сами не замечают, как их собственная “Биография” чем дальше движется к финалу, тем все больше сближается с этим самым телесериалом. Иная идеологическая направленность, противоположный подход ко многим эпизодам есенинской биографии и к концу есенинской жизни – все это отступает перед главным, тем, в чем и просматривается сходство. “Именно “алкоголик” и “праздный гуляка”, да еще в донельзя утрированном, карикатурном виде, навязан народу в сериале “Есенин” (с. 560), – пишут Лекманов и Свердлов, и здесь они совершенно правы. Но чем от этого “алкоголика” и “гуляки праздного” по сути отличается их “человек без нравственного стержня”, меняющий одно амплуа за другим, не покидающий, по мысли авторов, своей воображаемой “сцены”? Чем отличается от него все тот же “Биографический” алкоголик, предатель, вор, спекулянт кишмишем (пожили бы сами, господа хорошие, в то время, когда, чтобы с волками жить – надо было, поистине, по-волчьи выть!), неврастеник, одержимый “фобиями”, у которого “хайдовское” упоение собственными пороками” чередовалось “с “джекиловскими” короткими просветлениями” (с. 503), при том, что – “Орфей”? Да, по сути, ничем. Вот такая цена игры не Есенина, а наших авторов в “Джекила” и “Хайда”.

Само собой разумеется, что о бытовании поэзии Есенина, казалось, отесненного на далекую литературную периферию, в годы Великой Отечественной у авторов – ни слова. Ни слова о том, как поэзия Есенина помогала жить и сражаться (тому – масса свидетельств), как она возбуждала чувство Родины в мальчишках, защищавших Россию и советскую власть, ничуть не в меньшей степени, чем в мальчишках, возненавидевших эту власть “за убийство Сережи”. Вообще эта тема – посмертное существование Есенина и его поэзии в России с 1925 по 1955 год – отдельная тема, которую “биографы” “обузили” годами борьбы с “есенинщиной” – да и там не смогли толком разобраться.

А что касается гибели поэта... “Мы знаем место, день, час его последней дуэли, знаем высоту солнца над горизонтом, температуру воздуха, направление ветра, знаем размер отверстия, которое проделала пуля в его черном сюртуке. Но на каждом шагу нам приходится признавать, что мы не знаем ничего”. Так писала Серена Витале о последней дуэли Пушкина, о дуэли, которой посвящены десятки книг и сотни исследований. Достаточно в этом контексте бросить беглый взгляд на последние дни Есенина, чтобы признать: об этой трагедии мы до сих пор не знаем **вообще ничего**.

* * *

“Известен приговор Ахматовой: “Я не понимаю, почему так раздули его. В нем ничего нет – совсем небольшой поэт. /.../ Пошлость. Ни одной мысли не видно...” На эти слова Анны Ахматовой, записанные Павлом Лукницким и процитированные в финале своего объемистого тома, авторы считают нужным возразить: “Но о “небольшом поэте” не спорили бы на поэтическом Олимпе так горячо” (с. 585), приводя далее высокие слова Маяковского, Мандельштама, Пастернака, Ходасевича, – как бы “объединяясь” с ними и соблюдая при этом необходимую “объективность”.

Которая на самом деле не стоит ломаного гроша, в чем не трудно убедиться, обратившись к воспоминаниям той же Ахматовой о Есенине, записанным Александром Ломаном в 1964 году (с тем отношением Ахматовой к Есенину, зафиксированным Лукницким, Анна Андреевна вообще отказалась бы разговаривать о столь “ничтожном” для нее поэте). При этом сама проверила запись и не нашла в ней никаких искажений. Об этих воспоминаниях наши “добросовестные” опять же молчат “в тряпочку”.

“Мне он становился понятнее, – рассказывала Ахматова. – Его широко печатали, его стихи я встречала почти во всех толстых журналах и больше всего в “Красной нови”. О нем много писали, к сожалению, и много такого, что тяжело было читать – его пытались учить жить и работать, и это звучало так, как будто было только два пути – (в машинописи пропущена фраза на французском языке. – С. К.), а он явно искал свой путь – третий – и пел о жизни на шестой части земли с названием кратким “Русь”... В нем действительно было много нового. Он рассказывал о своей поездке за рубеж. Из рассказа

стало особенно ясно, насколько он русский. Его не вырвешь из полей и рощ... Не вырвешь и из новой России, и мне кажется, потому, что он, как и все мы, увидел, что

*Новый свет горит
Другого поколения у хижин.*

А ведь увидеть – значит понять. А это определяло путь, по которому идти...

В процессе чтения “Биографии” меня не оставляла мысль, что я уже встречался с чем-то подобным, во всяком случае, очень похожим. Как будто читаю книгу, а в памяти возникает некий литературный персонаж из совершенно “другой оперы”, поступающий определенным образом.

И я вспомнил. У замечательного детского писателя Радия Погодина есть рассказ, который называется “Альфред”. Сюжет его прост и непритязателен. В деревню Светлый Бор под Ленинградом съезжаются на лето маленькие горожане. Деревня живет своей жизнью по своим внутренним законам. Один из таких неписанных законов, который свято блюдут даже последние деревенские оторвы, что “кражу яблок не считали воровством”, – неприкосновенность сада деда Улана, ветерана еще 1-й мировой войны, истинного возраста которого никто не знал. Этот закон непререкаем и для гостей из города – но только не для “Альфреда”, который переступает запретную черту, за что оказывается нещадно бит деревенскими.

“Альфред” – имя нарицательное. Так в рассказе поначалу называют всех, приехавших горожан. Рассказчик сообщает, что многие к концу лета из “альфредов” превращаются в сущих деревенских “васек”, но тот – так и остался “альфредом”. И дело здесь не в месте рождения и не в социальном статусе, а в отношении к тому, что человек видит вокруг себя.

“Альфред, наверно, не понимал такой красоты. Задень она его – все повернулось бы совершенно по-другому. Альфред, наверно, никогда не видел, как цветут яблони. Словно сотни птиц уселись на ветки, помахивая белыми крыльями” (цитирую по памяти).

И чем дальше я читал книгу О. Лекманова и М. Свердлова, тем больше приходил к мысли, что эта биография Сергея Есенина написана двумя “альфредами”, которым просто не дано ни понять, ни прочувствовать того, с чем они имеют дело. Потому и взялись писать этот фолиант “без читательской любви”, с одной лишь “филологической любознательностью”, неизбежно обрекая свою книгу на литературоведческую маргинальность. Потому им и нет дела до истории России рокового слома эпох и до судьбы поэта в контексте этого сумасшедшего времени. Потому-то поступки Есенина изымаются ими из истинного контекста – и взамен создается ложный, в котором личность поэта изменяется до полной неузнаваемости, несмотря на обилие “документальных ссылок”, призванных подкрепить авторское видение.

Меня не смущают многочисленные восторженные рецензии на этот труд. Потому что я знаю: т а к о г о Есенина народ не примет, и не полюбит, и не посчитает его своим. “Свой” Есенин для всех и для каждого в отдельности – тот, кто в самые роковые дни, в самую кровавую смуту воплощал в себе и в своем уникальном творческом мире суть русского человека, который помогал оставаться русскими – последующим поколениям, уже после своей трагической гибели.

И в этом – его великая непреходящая миссия и в наше время, и в грядущие эпохи, что наступят после полного краха нынешней, уже выедающей себя изнутри, “цивилизации потребления”.

ЕВГЕНИЙ КУРДАКОВ

МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ТАЙНА ПОЭТА

*Не ты ль так плачешь в небе,
Отчалившая Русь?*

С. Есенин, “Иорданская
голубица”, 1918 г.,
с. Константиново

Обращаясь к имени великого национального русского поэта, мы с горечью и растерянностью можем сказать, что Сергей Александрович Есенин нами далеко еще не разгадан, впрочем, как и вся трагическая плеяда “новокрестьянских” поэтов, — этот святой ореол праведников и мучеников, обрамлявших собою и есенинскую судьбу.

“Новокрестьянцы”, возникнув как бы ниоткуда, — из самой глубины народной, как калики — вестники грядущего Апокалипсиса, явились вдруг и погибли один за другим, подсечённые под корень чужой, вненациональной, жестокой волей. А. Ганин, С. Клычков, Н. Клюев, П. Орешин, П. Васильев — все они были беспощадно уничтожены. В чередё этого чёрного мартиролога просвета нет, и гибель Есенина видится однозначно: его, безусловно, изжили, и вопрос остаётся — как и кто? Вопрос не праздный, хотя и не для нашего уже суда. . .

Но как, откуда, почему он возник, этот внезапный, как взрыв, выплеск иной, никем не ожидаемой культуры, который “патрицианская” поэзия “серебряного” века восприняла, в общем-то, как ярмарочный балаган: только самые пронизательные из “патрициев” почувствовали, что имеют дело с чем-то большим, гораздо более серьезным даже, нежели они сами (см. переписку Блока с Клюевым).

Характерна и внешняя “встреча” представителей двух культур: “Толстые дамы лорнировали его (Есенина) в умилении, и стоило ему только произнести с ударением на “о” “корова” или “сенокос”, чтобы все пришли в шумный восторг. — “Повторите как вы сказали: ко-ро-ва? Нет, это замечательно!..” — А Сергей, улыбочиво и терпеливо мигая глазами, спрашивал иногда без всякой обиды: “Чего они не поняли?..” В обращении с теми, кого он тогда еще не думал и не хотел называть “чужим и хохочущим сбродом”, была в Сергее какая-то укладливая вежливость, патриархальная крестьянская благовоспитанность” (В. Чернявский “Первые шаги”).

Этот феномен выхода “низовой” культуры в сферы “верхней” едва ли не единственный в мировой литературе (Никитин и Кольцов в этой ситуации — лишь предвестники), — никогда не будет разгадан без подробного анализа

самой крестьянской культуры, её обрядно-календарного оснащения, без понимания, что и само крестьянское православие – это сложнейший комплекс наложения христианства на то, что неверно назвали язычеством; без понимания, что и наша современная фольклористика, этнография и история, порождённые опять-таки “патрицианскими” хождениями в народ, – зашли в тупик.

Утилизированные обломки национальной культуры, ставшие ныне докторскими диссертациями, где все перепутано, где полностью разобщены миф, обряд и язык; где миф производится из обряда, а иногда наоборот, где и сказка трактуется как вульгаризированный миф; где громадный мифологический свод (двадцать томов по пятьдесят листов) русских старин, нелепо определённый как средневековый эпос, ещё и наполовину и не издан; где загадка зеркально совпадающих обрядов похорон и свадьбы так и остается на уровне национальной прихоти; где древнейшие обряды Коляды, Проводов Стрелы, Семика и т. д. считаются заимствованными у латинян, где понятия “изба”, “двор”, “поле” и пр. всё так же семантизируются на уровне прошлого века; где удивительный русский орнамент, глубоко сакральный по сути, считается заимствованным у финно-угров; где так и не прочитана семантика покроя мужской сорочки, женского сарафана с отстегивающимися рукавами, “смертной одежи”, рушника, рукотёрта, убруса, скатерти и т. д.; где изумительный банный обряд и обряд масленичного кулачного боя и не считаясь обрядами; где только что появившиеся областные словари Новгородчины и Пскова, перенасыщенные древнейшими индоевропейскими основами, так и остаются словарями “диалектными”, где докириллическое слоговое письмо (сотни текстов), уже прочитанное и опубликованное, категорически не принимается к сведению; где изумительная “Влесова книга” (книга мифов!) совершенно однозначно считается фальсификатом и т. д. и т. п., – в этой ситуации обращение к “официальной” науке становится бессмысленным.

А ссылки на современные “самодеятельные” или, точнее, “апокрифические” исследования, ввиду их “ненормализованного” состояния, остаются привычно необубедительными.

Однако без знания национальной культуры нам никогда не понять трагической вспышки апокалиптических видений “новокрестьянцев”, в том числе Есенина, – вспышки, может быть, последней на русском поэтическом небосклоне. Ведь это была не прихоть “представителей” определенной среды, не социологизированная идея сопротивления старого – новому, это было глубинное эсхатологическое восчувствование катастрофы Родного в пределах именно необозначенного национального мифостадиала, который для нас и сейчас остается за семью печатями заботами официальной науки.

А Есенин в “Ключах Марии” еще в 1918 году упрекал: “Если б хоть кто-нибудь у нас понял в России это таинство, которое совершает наш бессловесный мужик, тот с глубокой болью почувствовал бы мерзкую клевету на эту мужицкую правду всех наших кустарей и их приспешников. Он бы выгнал их, как торгующих, из храма, как хулителей на св. духа.”

При жизни “новокрестьянцев” их творческий метод определялся то как “мистическая сущность крестьянства” (М. Горький), то как “сказочность” (Б. Пастернак), то как “толстовская идеализация” (Д. Мережковский), то как “ржаное апостольство” (В. Князев), то просто как “идеализация прошлого” (О. Бескин), то даже как “вид классово-борьбы” (Е. Усиевич).

Сегодняшнее литературоведение, кое-как наладив взаимоотношения с “новокрестьянцами” и Есениным (А. Михайлов, В. Базанов, А. Марченко, Н. Солнцева, Н. Неженец и др.), в принципе, все так же далеко от понимания внутренней сущности этого явления по причинам уже перечисленным. Хотя: “А может быть (это) обломок древней экологической культуры... воспоминание об утраченном знании, к которому Есенин, благодаря своему феноменальному инстинкту, каким-то чудом оказался причастным?” (А. Марченко А. “Поэтический мир Есенина”. М., 1972 – об одном из отрывков поэмы “Преображение”).

Этот полувопрос, на который нынче нет ответа, как раз характеризует печальное состояние изученности (вернее, неизученности) национального мифосубстрата.

А он обширен, сложен, многотрадиционен. Только выявленных мифологических систем, довольно далеко отстоящих друг от друга, – не менее трёх. Одна из них (северорусская) – совершенно автономна, и лишь в самых архаических моментах (система Дюка-Чурилы) смыкается с ранневедической

(система Дакши-Бхараты). Другая, центральнорусская неожиданно близка с древнеегипетской и раннебиблейской.

Апокрифические исследования (к сожалению, имена авторов ничего читателю пока не дадут) выстраивают огромный национальный Пантеон, связный и стройный, событийные движения которого происходят в строгом порядке, в последовательности, адекватной всем остальным мировым мифостадиалам. Всё это продублировано календарными обрядами, где любой годовой круг повторяет собою и общий – мифологический. Каждый же локальный обряд (свадьба, похороны) сам, в свою очередь, в строгом порядке следует этой неписаной последовательности, равно, как и трудовые обряды (земледельческий, ткацкий). Труд, кстати, это обряд. Всё это пронизано сложнейшей знаковой системой, начиная от архитектуры избы, композиции двора, кончая традиционными предметами быта: прялками, вальками, конской упряжкой, ткацким станом, колыбелью, санями и пр., включая орнаменты и покрой одежды, головных уборов и т. д. А сцементировано всё это – языком, Словом. Откуда совершенно очевиден вывод, что язык, миф, обряд и знаковая система – единоисходны и равнопроистекаемы, а мифостадиальное запечатление мира восходит в глубины едва ли не изначальные. Такова была великая крестьянская культура, и Есенин всё это прекрасно понимал:

“Вытирая лицо свое о холст с изображением древа, наш народ не молчит о том, что он не забыл тайну древних отцов” (“Ключи Марии”).

Есенин, до 17 лет проживший в деревне, смог запечатлеть не менее десяти годовых календарно-обрядных циклов, – этого было достаточно для уверенной и окончательной инициации в крестьянскую мифостадиальную культуру, которой он будет сознательно и бессознательно служить всю оставшуюся жизнь.

Надо сказать, что крестьянская культура была, в общем-то, самодостаточна. Она прекрасно исполняла собственное предназначение, и литература, как таковая, была ей не нужна. Литература не являлась тем обрядом, который мог бы в чём-то дополнить главную мифостадиальную задачу: сохранение Памяти Вида. (Это задача всех мировых мифосистем.) Понятие “писанное” сакрализовалось лишь в собственном изначальном его значении, как нечто, канонизирующее бытие. Крестьянин, входя в литературу, относился к книге не как к предмету труда, но как к богоданному деянию. (Потому-то у большинства “новокрестьянцев” и названия собственных книг были произвольно мифологичны: “Радунца”, “Голубень”, “Преображение”, “Сельский часослов” и т. д. – у Есенина; “Братские песни”, “Мирские думы”, “Песнослов” – у Клюева; “Песни”, “Дубравна” – у Клычкова, и т. д.)

Книга – знак, книга – обряд, книга – весть...

Без всего этого невозможно до конца понять и личный Апокалипсис Есенина, и то, почему судьба поэтического гения и судьба Родины на историческом переломе слились на мифологическом уровне так нераздельно, что это без натяжки можно обозначить двумя условными параллелями:

Россия: Родное – Преображенное – Поруганное – Смертное.

Есенин: “Радунца” – “Инония” – “Москва кабацкая” – “Чёрный человек”.

Вехи весьма упрощенные, приблизительные, но совпадение разительное. И тайна может быть выявлена только на равном мифоэпическом уровне, без погружений в бытовые частности краткой и мучительной жизни поэта, которыми так переполнены и самые свежие исследования, – всегда имея в виду, что поэт – это прежде всего его Слово, а у Есенина еще и Слово-миф о Родине:

*И мыслил и читал я
По библии ветров,
И пас со мной Исайя
Моих золотых коров.*

(“О пашни, пашни, пашни...”, 1918 г.)

Родное

Есенин счастливо начинался там, где Сущее открывалось и озвучивалось в полной гармонии Мира и Слова, в глубинной русской среде народа-мифоносителя, издавна и глубоко освоившего руками и душой пространство обитания. Воспитанный не отцом-матерью, а, волею судьбы, – предположением, дедом-бабкой, он избежал в детстве избыточного “обмирщевания”, как гово-

рили, восприняв неразрушенное древнее мировосчувствование через духовные книги деда, песни бабки, причеты и речитативы часто гостивших у них монахов, калик перехожих, богомазов.

“Часто собирались у нас дома слепцы, странствующие по сёлам, пели духовные стихи о прекрасном рае, о Лазаре, о Миколе и о женихе, светлом госте из града неведомого” (Автобиография 1924 г.).

Уже невозможно сейчас воссоздать, что мог слышать Есенин, посвящаясь в “русскость”, но, судя по его стихам, это посвящение было и всецельным, и всеполным:

*Льётся пламя в бездну зренья,
В сердце радость детских снов,
Я поверил от рожденья
В богородицын покров.*
(“Чую радуницу божью...”, 1914 г.)

Здесь совершенно замечательно то, что Есениным выделен главный мифостадиальный абсолю́т – Богоматерь с животворным Покровом. Этот образ, отсеянный строгим национальным отбором из привнесенных символов христианского Пантеона, в свою очередь параллелен древнейшим символам Омелфы (из северорусской традиции) и Матерь-Сва (центральной), – вечным дарительницам жизни, прикрывающим землю водоносным покровом. (Кстати, и ранее христианство на Руси было Успенско-Покровным):

*Снеги, белые снеги —
Покров моей родины.*
(“Сельский часослов”, 1918 г.)

Покров в народной мифологической традиции предопределяет и пространство Николы, равно в той степени, в какой праздники, одноимённые этим символам, следуют друг за другом. Кстати, Есенин-поэт, и это характерно, начинается именно с цикла, посвящённого Миколе:

*В шапке облачного скола,
В лапоточках, словно тень,
Ходит милостник Микола
Мимо сёл и деревень.*
(“Микола”, 1913-1914 гг.)

Здесь чрезвычайно точно обозначен мифостадиальный статус Николы-зимнего, его облачная сущность, затенённость его мифопространства, что говорит о незапутанном, уверенном понимании Есениным народных символов.

Покров – защита, прикрытие жизни, а под ним – обязательный образ Родины, как долгого пути, дороги:

*Там в полях за синей гущей лога,
В зелени озер,
Пролегла песчаная дорога
До сибирских гор.*
(“В том краю, где жёлтая крапива”... 1915 г.)

Но Русь, кроме того, что это вековечная дорога под покровом, это еще и тягло-судьба:

*Чёрная, потом пропахшая выть,
Как мне тебя не ласкать, не любить.*
(“Чёрная, потом пропахшая выть...” 1914 г.)

Выть=доля=участь=судьба=тягло (а мифостадиально еще и житие, от – вить, повивать, то есть благословлять на жизнь, пеленать; запеленутый, упелен-Апполон и т. д.). Дорога же – это Черные Грязи Прародины, Тёплое Пятно человечества (Шахматов), земная утроба доброго бессолнечного Кисько

(“Влесова книга”), Комонезём — полоса нынешних чернозёмов — след мамонтовой фауны. Кроме того — это и мифостадиальный рай, древний золотой век человечества под облачным Покровом запелёнутого Светила. Но это и рай воочию:

*Гляну в поле, гляну в небо —
И в полях и в небе рай.
Снова тонет в копнах хлеба
Незапаханный мой край.
(“Гляну в поле, гляну в небо...” 1917 г.)*

Как раз такие патриархальные моменты “пейзанской идиллии” или “мужицкого рая” и останавливали прежде всего внимание исследователей крестьянской культуры. Но грош цена была бы национальному мифостадиалу, являющемуся прежде всего эсхатологическим предупреждением Памяти Вида Человечества, если бы он фиксировался лишь на некой утопической мечте. Последовательность его (по апокрифическим разработкам) проста и сложна одновременно. Сложна прежде всего из-за непривычки доверять народной мифологической памяти. А последовательность такова: Долгое-Тёмное-Пространство-Прародина, затем два световых предупреждения-благовещения, далее — Новосолнечная катастрофа с Преображением мира, постепенное водоуспокоение, связанное с понятием Успения, и вновь катастрофа с возвращением Долгого-Тёмного Пространства, то есть сходжение в Ад или Божий суд. Здесь не место расшифровывать реалии, скрытые под образами мифостадиала, единого для всех мировых мифосистем, в том числе и для русско-крестьянских традиций. Важно, что эта культура целиком помещала в себе эту Предупреждающую Память Вида, в том числе и обязательную для нее эсхатологичность, заключающуюся в вере в Конец Света, в христианской традиции связанной с явлением Антихриста:

*О сторона ковыльной пущи,
Ты сердцу ровностью близка,
Но и в твоей томится гуще
Солончаковая тоска.
(“За тёмной прядью перелесиц...” 1916 г.)*

И нелепо думать, что эта “солончаковая тоска” — одна из настроенческих прихотей Есенина, — она исходит из самой сущности его постоянного мировосприятия, инициированного изначально в эсхатологическое предчувствие катастрофы:

*Чтоб прозвенеть в лазури
Кольцом незримых трат.
(“Прощай, родная пуща...” 1916 г.)*

Или несколько позже:

*Клубит и пляшет дым болотный.
Но и в кошме певучей тьмы
Неизреченностью животной
Напоены твои холмы.
(“О край дождей и непогоды...” 1917 г.)*

Все это целиком впитал в себя Есенин, пронес сквозь жизнь, постоянно сознавая, что национальная мифологическая тайна вот-вот исчезнет вместе с мифоносителем — русским крестьянином:

“Единственным расточительным и неряшливым, но всё же хранителем этой тайны была полуразбитая отхожим промыслом и заводами деревня. Мы не будем скрывать, что этот мир крестьянской жизни, который мы посещаем разумом сердца через образы, наши глаза застали, увы, вместе с расцветом на одре смерти. Он умирал, как выплеснутая волной на берег земли рыба... Мы стояли у смертного изголовья этой мистической песни человека”

(“Ключи Марии”).

Итак, Есенин входил в “верхнюю” культуру вооружённый неведомой для неё тайной, с мироощущением, которое им, хозяевам своей культуры, поднаторевшим в философии, мистике, теософии, казалось не сложнее песни жалейки в руках лубочного пастушка на лугу.

“Соблазны культуры ничем еще не задели ясной души Рязанского Леля”, — бодро говорилось о первой книге поэта “Радуница” в едва ли не первой же рецензии на неё (З. Бухарева З., приложение к журналу “Нива”, 1916 г., № 5).

А ведь и впрямь, что можно с маху разглядеть, к примеру в этом:

*Край родной, поля, как святцы,
Рощи в венчиках иконных...
Я хотел бы затеряться
В зеленях твоих стозвонных.*

(“Край родной...” (ранний вариант) 1916 г.)

Хотя здесь с необычайным чутьем Есенин расслышал общую семантику слов “поля” (от — пал=паленое=открыто-освещенное пространство) и “святцы” — месяцесловное перечисление святых, которые тоже, в принципе, связаны со светом (христианская традиция, в общем-то, почти абсолютно воспроизводит и общемифостадиальную).

Можно было бы поговорить ещё и о своеобразном цветовосприятии “новокрестьянцев”, и Есенина в особенности, неведомом поэтам “верхней” культуры, где цвет не столько окрашенность, сколько конкретно-вещественное состояние (чему есть совершенно особые мифостадиальные причины). Или об атавистических, очень древних представлениях о сущности речи, слова, говорения. Но это темы уже специальных исследований. Хочется лишь подчеркнуть непростоту “новокрестьянцев”, которую, в общем-то, при жизни их никто и не разглядел.

А на пути в литературу их поджидали две опасности, это, собственно, сама литература (литературщина) и псевдонародность, то есть лубочный театр, в который их помещали охотно и с воодушевлением, в эти опереточные резервации “Красы” и “Скифов”. И никто из них, кроме разве чрезвычайно устойчивого С. Клычкова, не миновал этих соблазнов (даже и Есенин писал сонеты), — но это всё хорошо известно, как и то, что от этих соблазнов они худо-бедно отряхнулись. Страшнее, непонятнее было другое:

*О Русь, взмахни крылами,
Поставь иную крепь!
С иными именами
Встает иная степь.*

(“О Русь, взмахни крылами...” 1917 г.)

Как годовой обрядо-календарный круг имитирует тысячелетний — мифостадиальный, так и человеческая жизнь (если она под Богом!) должна соответствовать Божьему закону (улогу — уложению).

Вот это глубинное понимание соответствий, в том числе и апокалиптических, обязанных быть событий и обрядов, обязанных сопровождать их, — и создало общий эсхатологический окрас поэзии “новокрестьянцев”, и Есенина в особенности, усугубленным предчувствием собственных судеб на фоне начавшегося не понятого и не страшного еще великого Преображения.

Преображение

*9. И была сеча великая на много месяцев.
Стократно побита Русь и стократно
разбита*

10. была от Полнощи — до Полудня...

Влесова книга, дощечка 6 (реверс)

Предчувствие того, что грядет, уже давно мучило и волновало Есенина и крестьянскую купницу.

*Радуйтесь!
Земля предстала
Новой купели!
Догорели
Синие метели
И земля потеряла
Жало.
(“Певущий зов”, 1917 г.)*

и еще более конкретно:

*Но вдруг огни сверкнули,
Залаял медный груз.
И пал, сражѐнный пулей,
Младенец Иисус.
(“Товарищ”, 1917 г.)*

Удивительно точное мифостадиальное восчувствование происходящего: гибель Иисуса, то есть Бога-хранителя – тела-Земли, адекватна народной памяти о Солнечной катастрофе, о земле распятой, то есть открытой Новосолнцу.

Блок, находившийся в последние годы своей жизни под достаточно заметным влиянием Клюева, поэму “Двенадцать” закончил тем, что “двенадцатипостольный” разбой возглавил забрезживший образ Христа:

*В белом венчике из роз
Впереди Иисус Христос.*

Но Блок был из другой, флуктуирующей, обломочной мифо-культуры, которая уже “забыла”, что мифостадиально – впереди обязательное безумие Бога-трикстера (дурака-убийцы), испепеляющее пиршество Палящей смерти. Кстати, Евангелия сохранили в сакрализованной форме довольно стройную систему Мирового Мифостадиала, которую Клюев, например, знал в совершенстве:

*Жильцы гробов, проснитесь! Близок страшный Суд!
И Ангел-истребитель стоит у порога!
(Сборник “Медный кит”, 1919 г.)*

В этом же сборнике в стихотворении “Я надену чёрную рубаху” Клюев приводит “девичью песенку во ржи”:

*Узкая полосынька
Клинышком сошлась, —
Не вовремя косынька
На две расплелась.*

Это расплетение надвое нетронутой досель девичьей косы – как раз обряд, мифостадиально копирующий момент распятия Девы-земли при сватании (обряде паления Новосолнца). Удивительна всё же по своей выразительности эта древняя знакомая калька пресечения Пространств, адекватная распятию земли на две Дасуни (“Влесова книга”), перекрещенным рукам Иакова, благословляющего своих сыновей, “репью” на русских убрусах и Андреевскому кресту...

Послеоктябрьское время, весьма краткое, впрочем, предвещало в начале какое-то ещё не вполне внятно выраженное изменение мира со всеобщими надеждами на лучшее. Всколыхнулось и крестьянское мифосознание:

*Я иное узрел пришествие —
Где не пляшет над правдой смерть...
(“Инония”, 1918 г.)*

Смерть еще попляшет, и попляшет страшно, и над правдой, и над верой, но то ещё неведомо, лишь предчувствие, — главное — что-то струнулось, преобразилось. И Есенин сразу замышляет большую поэму “Сотворение мира”, — характерное название для мифоосвоения времени. Поэма эта в задуманном виде не состоялась, она распалась на отдельные “малые” поэмы: “Преображение”, “Иорданская голубица”, “Инония”, “Пантократор”, “Кобыльи корабли”, “Сорокоуст”. И характерно здесь то, что Есенин вышел в назначенный самому себе “пророческий” статус, который позволял ему вплотную приблизиться к мифостадиальной сущности происходящего:

*Не утрашуся гибели,
Ни копий, ни стрел дождей, —
Так говорит по Библии
Пророк Есенин Сергей.
(“Инония”, 1918 г.)*

Эти микропоэмы, которым как-то особенно не повезло в литературоведении (их обозначали как “орнаментальная поэзия”, как “заказ революции”, как “дерзкое экспериментаторство” и т. д.) — чрезвычайно интересны тем, что в них Есенин уже вполне сознательно применяет свое мифологическое мировоззрение как метод.

Все поэмы — совершенно прозрачное поэтическое воспроизведение главного сюжета всех мифологических сводок мира: Явление Новосолнца и Изменение мира. Этот сюжет главенствует и в “Ветхом завете”, и в “Псалтири”, и в “Ригведе”, и в “Махабхарате”, и в русском северном мифологическом своде старин (старина=стар-ень, звезда-пространство), и в промежуточном (христиано-языческом) своде духовных песен, и во “Влесовой книге”, и в отдельных песнях-балладах и т. д. и т. п. В принципе, всё это так же очевидно и у Есенина:

*Свят и мирен твой дар,
Синь и песня в речах,
И горит на плечах
Необъемлемый шар!
Закинь его в небо,
Поставь на столпы!
(“Отчарь”, 1917 г.)*

Конечно же это Оче-Оре, Отчарь, обновленный Чурило, сын отца-Солнца, такой знакомый мифостадиальный пришелец, явленный вдруг при сдвиге пространства (кстати, совершенно реального геоклиматического явления), недаром миф (Память Вида!) — восставший из чрева ледяной горы-матери, оказавшейся на востоке:

*И вывалится чрево
Испепелить бразды —
Но тот, кто мыслит девой,
Взойдет в корабль звезды.
(“Октоих”, авг. 1917 г.)*

В поэме “Пришествие” — откровенной вариации евангельской истории Христа, Есенин как бы уточняет и иные (крестьянско-языческие) понимания этого сюжета:

*Холмы поют о чуде,
Про рай звенит песок.
О верю, верю — будет
Телиться твой восток.*

Да, все в пределах мифостадиальных реалий (коровьи образные параллели — весьма распространены в мифосистемах), потому и:

*Облаки лают,
Ревет златозубая высь...
Пою и зываю:
Господи, отелись!
(“Преображение”, 1917 г.)*

Этот шокировавший когда-то образ, в общем-то, вполне невинен, если рассматривать его опять через мифологическую проекцию: безумный пожар Новосолнца, так живописно запечатлённый, например, в некоторых псалмах, породил и страстную молитву-плач о перевоплощении зла – в добро, в дождь – отёл:

*За тучи тянется моя рука,
Бурию шумит песнь.
Небесного молока
Дажь нам днесь.
(“Преображение”, 1917 г.)*

Образ небесной коровы, у Есенина – “Телица-Русь”, особенно отчётливо представлен в египетской и ведической мифологиях, и – во “Влесовой книге”. Любопытны всё же истоки есенинских знаний, – они обширны и безупречны в последовательности стадий:

*О, веруй, небо вспенится,
Как лай сверкнет волна.
Над рощею оценится
Златым щенком луна.*

Это тоже обязательная стадия водного успокоения Жара Новосолнца, которая точнее и полнее отражена в поэме “Иорданская голубица”:

*Буду тебе я молиться,
Славить твою Иордань...
Вот она, вот голубица,
Севшая ветру на длань.
(“Иорданская голубица”, 1918 г.)*

Но в течение периода успокоения Новосолнца наступает и постмифостадиальное переосмысливание того, старого досолнечного состояния. Потому-то и во всех верованиях так двойственно воспоминание о прошлом: это или утроба сырой тьмы, или успокоительный рай Божий:

*Проклинаю я дыханье Китежа
И все лощины его дорог.
Я хочу, чтоб на бездонном вытяже
Мы воздвигли себе чертог.
(“Инония”, янв. 1918 г.)*

Китеж – это Авало-Китеш-Вара (др.-инд.) или так называемый “Поки-тешь-град”, то есть древнее покинутое состояние (Кисько “Влесовой книги”, Кичка некоторых волжских преданий: Сарынь-на-Кичку – возглас сакрально-предупреждающий о Новосолнце, явившемся над Кичкой), Хутынь, Катынь некоторых локальных славянских поверий, и т. д. Кстати, поэма “Инония” (от Ино – ень, то есть Иное Пространство, но не “Чудесный гость”, как трактуется порой) – вновь “прокручивает” общий стадиал Новосолнца, где вначале происходит обязательный сдвиг Пространства:

*До Египта раскорячу ноги,
Раскую с вас подковы мук...
В оба полюса снежнороги
Вопьюся клещами рук.
(“Инония”, 1918 г.)*

Как уже говорилось, вначале, как обязательная стадия, подвижка Земли, пространства. В мифах оно “обеспечивалось” дремлющими и пробуждающимися хтоническими силами (подземными): Посейдон (греч.), бык-Бату (др. егип.), Бутман (сев.-русс.), Боровлень (“Влесова книга”) и т. д., вплоть до Би-Фэна (китайск.). После сдвига Пространства в провале Мать-горы на Востоке показывается голова Новосолнца:

*И в провал, степенный бездною,
Чтобы мир весь слышал тот треск,
Я главу свою власозвездную
Просуну, как солнечный блеск.
(“Инония”, 1918 г.)*

Кстати, вот как писал в “Ключах Марии” сам Есенин о хтонических мифосимволах русских поверий: “Гонители св. духа-мистицизма забыли, что в народе есть уже тайна о семи небесах, они осмеяли трёх китов, на которых держится, по народному представлению, земля, а того не поняли, что этим сказано то, что земля плывет, что ночь – это время, когда киты спускаются за пищей в глубину морскую, что день есть время продолжения пути по морю” – совершенно гениальное предупреждение “гонителям”!

В поэме “Пантократор” затихающая стихия мифостадиального Преображения, олицетворённая “красным конем” Новосолнца-новобытия, обращается в страстное пожелание:

*Сойди, явись нам, красный конь!
Хвостом земле ты прицепись,
С зари отчалься гривой.
За эти тучи, эту высь
Скачи к стране счастливой.
(“Пантократор”, февраль 1919 г.)*

Но счастливой страны не будет. Мифостадиал, безупречно срабатывавший в тысячелетиях, не сработал в начинающейся российской действительности. И уже прозвучала у Есенина в самом конце этого удивительного, неразгаданного, мифостадиального цикла поэма мелодия “Чёрного человека” – горькая музыка раздвоения и обмана так много обещавшего мира:

*Чёрт бы взял тебя, скверный гость!
Наша песня с тобой не сживётся.
(“Сорокоуст”, авг. 1920 г.)*

Поруганное. Смертное

*7. Не Божья земля та Русская и — не
озирайтесь на неё, но не забывайте её, —
там ведь*

8. кровь наша лилась...

Влесова книга. Дощечка 4 (аверс)

Мифостадиальные ожидания “новокрестьянцев” не сбывались, наоборот, творилось что-то антибожеское, сатанинское.

“...Россия, впервые взлетев к невиданной свободе, сейчас же и тут же оборвалась в худшую из тираний”, – писал об этом времени А. Солженицын.

В 1918 году расстреляли крестные ходы в Харькове, Туле, Воронеже.

Прокатился кровавый красный террор в Петрограде.

В 1919 году разграбили и разогнали Чудов, Страстной, Ново-Спасский монастыри.

В 20-е годы потоплены в крови Тамбовское, Ишимское, Северо-Кавказское крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж.

В 1920 году расстреляли монахов Лебяжьей пустыни.

Есенин искал себе пристанище, укрытие от расстреливавшего мира. Древний гармоничный уклад, впитанный с детства, самоотверженный порыв

к Преображению обратился в беспощадно-пошлое надругательство. Рушились и вечные мироустои, а это значит, оставалась лишь собственная одинокая судьба, осиротевшая без духовной поддержки:

*Мир таинственный, мир мой древний,
Ты, как ветер, затих и присел.
Вот сдавили за шею деревню
Каменные руки шоссе.
(“Волчья гибель”, 1921 г.)*

“Всё поругано, продано, предано”, – писала Анна Ахматова примерно об этом же.

В 1922 году расстреляли 200 монахов в Предтеченском монастыре. В том же году погибли 8000 духовных лиц. В 1923 году 2000 священников свезены в Соловецкие лагеря. В 1924 году расстреляли 300 монахинь Покровского монастыря. Началось массовое “раскрестьянивание” России.

*Что-то всеми навеки утрачено.
Май мой синий! Июнь голубой!
Не с того ль так падит мертвечиной
Над пропащею этой гульбой?*

Так постепенно рождалась “Москва кабацкая”, – собственно, уже “переложение” мифостадиальных ожиданий с пространства – на себя, на свою беспризорную судьбу. Эпохи крушения всегда оформляются статусом Трикстера, – шута, пропойцы, клоуна, забуддыги (Иван-Гостиный-Сын и голи кабацкие русских старин, немецкий Ойленшпигель, ведический Дурдьохана и пр.)... Но:

*Я давно мой край оставил,
Где цветут луга и чащи.
В городской и горькой славе
Я хотел прожить пропащим.*

Нет, образ Трикстера, озорного гуляки “Москвы кабацкой” смог обмануть, да и то на время, лишь тех, кто, собственно, и хотел обмануться. “Москва кабацкая” на самом деле, кроме эпатажного названия да нескольких намёков, ничего от кабака не имела. Она несла в себе тонкую грусть и нежность к уходящему и несвершённому:

*Не хочу я лететь в зенит,
Слишком многое телу надо.
Что ж так имя твоё звенит,
Словно августовская прохлада.*

Это стихи, безусловно, золотого фонда русской поэзии, стихи пронзительной чистоты и печали.

И, собственно, на этом кончается есенинское мифотворчество, вернее, мифоподтверждение таинственной национальной загадки.

Ещё писались превосходные стихи. Ещё напишутся условно-декоративные “Персидские мотивы”, – опять-таки дань национальному мифологическому воспоминанию об “Индее богатой” (тому ж Беловодью сказочному). Забавна здесь озабоченность литературоведов тем, что Есенин никогда в Персии не бывал. А зачем, собственно, ему быть обязательно в Персии, если всю жизнь он “пребывал” в фантастическом русском фольклоре?

*До свиданья, пери, до свиданья,
Пусть не смог я двери отпереть,
Ты дала красивое страданье,
Про тебя на родине мне петь.
До свиданья, пери, до свиданья.*

(“В Хороссане есть такие двери...”, март 1925 г.)

Где-то через полгода последним эхом откликнется это “до свиданья” в его прощальном стихотворении. Эхолоалии пропетых мелодий вообще преследовали его под конец, — этими отзвуками словно бы окольцовывалась его судьба.

Растворённый собственной жизнью в тоске Родного, он погибал вместе с убиваемым Родным, и сам перетекал в Миф, утвердив его одним из удивительнейших в русской поэзии стихотворением: “Чёрный человек”:

*В декабре в той стране
Снег до дьявола чист,
И метели заводят
Весёлые прялки...*

Страшный обман подлого и жестокого Времени поэт обернул на себя, и в этом беспощадном самобичевании он был зорек и точен:

*Чёрный человек
Глядит на меня в упор,
И глаза покрываются
Голубой блевотой, —
Словно хочет сказать мне,
Что я жулик и вор,
Так бесстыдно и нагло
Обокрававший кого-то.*

Это как раз и был тот “аггелизм”, несостоявшийся метод, придуманный им с С. Клычковым (еще до имажинизма), метод самосжигающего образа (аггел — огненный ангел).

*Ах, положим, ошибся!
Ведь нынче луна.
Что же нужно ещё
Напоенному дрёмой лирику?*

Миф закончился...

Иеремия, гл. 4.

23. Смотрю на землю — и вот, она разорена и пуста, — на небеса, и нет на них света.

24. Смотрю на горы — и вот, они дрожат, и все холмы колеблются.

25. Смотрю — и вот, нет человека...

“Влесова книга” (дощечка 1, аверс).

2. ...И второе Ождение было, самих людей побив. Грехом покрыло

3. места те, пожрав и очесав их, людей повергая мечем...

4. И так сказано: Оре-оче, как мёртвый, ущербился под грехом.

5. И так погребены были родники эти.

Значение и роль Есенина огромны. Он постепенно приобретает рядом с Пушкиным его “равноапостольский” статус, символически запечатлевая **великий и таинственный грех раздвоения национальной культуры**, которая скрывала в себе великую общечеловеческую тайну Памяти Вида, едва не потерянную навеки.

Публикация Юлии Курдаковой.

ВАЛЕРИЙ МЕШКОВ

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН И МИХАИЛ БУЛГАКОВ

Известно, Михаил Афанасьевич Булгаков не любил и современную ему поэзию, и поэтов своего времени. По этой причине даже Анна Ахматова, дружившая с семьёй Булгаковых, не осмеливалась в его присутствии читать свои стихи. Своё суровое отношение М. Булгаков не изменил даже по отношению к стихам своего родного брата Ивана. Когда тот, живя в эмиграции в Париже, посылал Михаилу в письмах свои произведения, критика в ответ была весьма строга.

Между тем, имеются сведения, что сам Булгаков с молодости был не чужд стихотворчеству, сохранились образцы его шуточных произведений в стихах*. Много лет спустя его сестра Надежда вспоминала о всесторонней одарённости брата: *“Михаил Афанасьевич писал сатирические стихи о семейных событиях, сценки и “оперы”, давал всем нам стихотворные характеристики”* [1, с. 60]. В зрелые годы писатель тоже иногда в письмах родным “срывался” на стихотворный жанр, например, описывая жизнь в знаменитом теперь доме № 10 в Москве: *“На Большой Садовой / Стоит дом здоровый”*** и т. д. [1, с. 66]. Но все свои “опыты” подобного рода Булгаков оставлял для узкого круга родных и знакомых.

Можно понять, что к поэзии и поэтам Булгаков предъявлял очень высокие требования. Ведь во времена его молодости было модно “баловаться стишками”, поэтов было великое множество, одни считали себя “непризнанными гениями”, а другие, как Игорь Северянин, наоборот, сами себя объявляли гениями. С публичными выступлениями и поведением поэтов было связано много скандалов, эпатажа и бравады, демонстраций пренебрежения к “мещанам и обывателям”, нравственным устоям и духовным ценностям “власть имущих”.

Булгаков и круг его знакомых, уже в юности, критически относились к таким способам вхождения в литературный мир, завоевания известности и популярности. Обращаемся снова к воспоминаниям сестры писателя о киевских

* В архиве Булгакова сохранился также листок с набросками стихотворения. Он датирован 28 декабря 1930 г. и озаглавлен “Funerailles” (“Похороны”). Об этом см. [2, с. 450].

** В доме № 10 на Большой Садовой много раз бывал у друзей Сергей Есенин: в кв. 21 жила мать имажиниста В. Шершеневича, а в кв. 38 была студия художника Якулова, где Есенин познакомился с Дункан. Студию с её гостями считают одним из прототипов “Зойкиной квартиры”. Булгаков проживал сначала в “нехорошей квартире” 50, а затем в кв. 34 [1, с. 164–171].

дореволюционных годах: “Читали декадентов и символистов, спорили о них и декламировали пародии Соловьёва: “Пусть в небесах горят паникадила – В могиле тьма” [1, с. 59].

О некоторых взглядах писателя на поэзию можно судить из его неоконченного письма к брату, Ивану Афанасьевичу: “Невозможность ли, нежелание ли до конца разяснить свой замысел, быть может, желание затушевать его нарочно, порождают очень большой порок, от которого надо немедленно избавляться: это постановка в стихах затёртых, бледных, ничего не определяющих слов” (от 12.05.1934).

По таким косвенным указаниям можно судить, что Булгаков выше всего ставил классические образцы поэзии и не принимал всерьёз стихи, в том числе и свои, далекие от столь высокого уровня. Вполне возможно, что единственным таким образцом для Булгакова было творчество Пушкина. Из автобиографической повести “Записки на манжетах” можно узнать, что первой литературной травле М. А. подвергся во Владикавказе за попытку защитить Пушкина от новоявленных советских “гонителей”:

“И было в лето, от Р. Х. 1920-е, из Тифлиса явление. Молодой человек, весь поломанный и развинченный, со старушечьим морщинистым лицом, приехал и отрекомендовался: дебошир в поэзии. Привез маленькую книжечку, похожую на прейскурант вин. В книжечке – его стихи.

Ландыш. Рифма: гадыш.

С ума сойду я, вот что!..

Возненавидел меня молодой человек с первого взгляда. Дебоширит на страницах газеты (4 полоса, 4 колонка). Про меня пишет. И про Пушкина. Больше ни про что. Пушкина больше, чем меня, ненавидит. Но тому что! <...> А я пропаду, как червяк” [3, 1.1, с. 481].

Всё изложенное говорит о том, что тема поэтов и поэзии, отношения к ним общества, не были чужды Булгакову, а его житейский и литературный опыт содержал соответствующие яркие и разнообразные впечатления.

Неудивительно, что в главном романе Булгакова “Мастер и Маргарита” одним из главных героев “второго плана” является поэт Иван Николаевич Бездомный. Ныне существует целая “отрасль” популярной литературы, изучившая роман вдоль и поперёк, толкующая его вкривь и вкось. А один из разделов этой “отрасли” посвящён поиску прототипов героев романа.

Разумеется, образ Бездомного является собирательным, он не был полностью “списан” с одного конкретного человека, хотя и такое в литературе случается.

Мариэтта Чудакова, наиболее авторитетный исследователь Булгакова, отмечала: “И сам Есенин, и молодые поэты из его ближайшего окружения последних московских лет <...> Иван Старцев и Иван Приблудный – стали, на наш взгляд, материалом для построения “двух Иванов” – сначала Ивана Русакова в “Белой гвардии”, затем – Ивана Бездомного в “Мастере и Маргарите” [2, с. 272].

Комментаторы первого собрания сочинений Булгакова видели в нём “черты многих лиц: Д. Бедного, Безыменского, Ив. Ив. Старцева и др.”, но Есенина уже забыли. Хотя отмечали, что псевдоним Бездомный (Понырёв), выбран вполне в духе того времени, согласно “идеологическому шаблону”: Максим Горький (Алексей Пешков), Демьян Бедный (Ефим Придворов), Иван Приблудный (Иван Овчаренко) и т. п. [3, т. 5, с. 632].

Автор “Булгаковской энциклопедии” [5] пошёл дальше, и основным прототипом Бездомного считает поэта Александра Безыменского (1898–1973). Однако аргументы в пользу этого выдвигаются весьма немногочисленные, сомнительные и чисто внешние. Достаточно вспомнить, что Безыменский был пролетарским, комсомольским поэтом, а принадлежность Бездомного к этому кругу ничем в романе не выражается. Кроме того, Иван показан в романе как человек бесхитростный, искренний и простодушный, к которому повествователь относится с симпатией. Безыменский же входил в круг ненавистников Булгакова, принимал активное участие в его травле в печати. Такого человека Булгаков мог вывести только в ряду таких персонажей романа, как критик Латунский, Алоизий Могарыч или поэт Рюхин.

Невозможно предположить, что Мастер, в ком отражены многие автобиографические черты самого автора романа, будет исповедально повествовать о своей жизни и судьбе, пусть даже и в романе, человеку типа Безыменского.

Известно такое событие в жизни Булгакова, случившееся 7 июня 1934 года. Ему и его жене Елене Сергеевне в унижительной форме было отказано в обещанной поездке за границу во Францию. Это был для писателя страшный удар, и по рассказу жены:

“На улице М. А. вскоре стало плохо, я с трудом довела его до аптеки. Ему дали каплею, уложили на кушетку. Я вышла на улицу – нет ли такси. Не было, и только рядом с аптекой стояла машина и около неё Безыменский. Ни за что! Пошла обратно и вызвала машину по телефону.

У М. А. очень плохое состояние – опять страх смерти, одиночества, странствам”. [6, с. 61].

Таким образом, можно сделать вывод, что Безыменский, общение с которым было Булгаковым противно даже в такой трудной ситуации, никак не мог быть прототипом поэта Бездомного в романе “Мастер и Маргарита”.

Роман этот слишком глубок и многопланов, чтобы по какому-то внешнему признаку можно было разгадать замысел его автора. Возникает мысль: если в образе второстепенного персонажа романа, поэта Рюхина, Булгаков использовал какие-то черты Маяковского [5] (с чем ещё можно согласиться), то это, скорее, глубинные свойства характера, чем какие-то внешние черты. Тогда и приходим к предположению, что прототипом Бездомного должна быть фигура поэта, никак не меньшая для того времени по своей человеческой и литературной величине, чем фигура Маяковского.

А это логично и однозначно приводит нас к единственной такой значительной фигуре, соответствующей этому персонажу романа, – Сергею Александровичу Есенину*.

Оказывается, доказательства этому имеются, только они лежат не на поверхности, а немного глубже. Если взять псевдоним поэта – Бездомный, то действительно он явно пародийный, но в случае Есенина не всё так просто. Поэт на самом деле всю жизнь не имел не то что дома, но даже квартиры. Парадоксально, но факт: несмотря на всемирную известность, славу и популярность в своей стране, Есенин не заслужил от советских властей даже простой жилплощади.

Сам он этим вопросом не занимался, но после его возвращения в 1923 году из длительной заграничной поездки и разрыва с Дункан друзья пытались решить для поэта квартирный вопрос. Были собраны все бумаги, приложения ходатайства из Моссовета, секретариатов Троцкого и Калинина. Как вспоминала Анна Назарова, близкая знакомая Есенина: *“Решила: ну с такими “ходатайствами” через 2 часа у меня будет квартира для Есенина. И только через месяц почти ежедневного хождения в РУНИ (Краснопресненское районное управление недвижимым имуществом. – В. М.) я поняла, что эту стену никакими секретариатами не прошибёшь”* – [7, с. 165].

Уместно вспомнить, что “квартирный вопрос” всегда затрагивал Булгакова, это получило отражение и в романе “Мастер и Маргарита”. А ещё раньше Булгаков записывал в своём дневнике: *“Пока у меня нет квартиры – я не человек, а лишь полчеловека”* (18 сент. 1923 г.). По этому поводу существенно и замечание Елены Сергеевны [6, с. 64]: *“Для М. А. квартира – магическое слово. Ничему на свете не завидует – квартире хорошей! Это какой-то пункт у него”* (23 авг. 1934 г.).

Следует понимать, что за персонажем поэта Бездомного у Булгакова между строк выражено гораздо больше, чем видится поверхностному читателю. Это принципиально разное отношение и к жизни, и к литературе. В романе ведётся спор на эту тему Мастера с Бездомным, и уже из первой главы можно понять, что поэт представляет немалую величину на советском литературном небосводе. В *“доказательство славы и популярности”* Бездомного *“...иностранец вытащил из кармана вчерашний номер “Литературной газеты”*,

* Сведения о Есенине у Булгакова были не только из прессы и книжных публикаций, но и из личных впечатлений. О них рассказывала его первая жена Т. Лаппа (см. также [2, с. 272]). Кроме того, поклонницей Есенина была вторая жена Булгакова – Л. Е. Белозерская, воспоминания которой содержат эпиграф из Есенина “О, мёд воспоминаний!”, а её впечатления от встреч с поэтом в Берлине включают обширные стихотворные цитаты – полностью приводятся два его стихотворения [4, с. 72–77]. Одним из близких друзей Булгакова был Н. Эрдман, входивший в состав поэтов-имажинистов второго ряда и общавшийся с Сергеем Есениным в годы расцвета имажинизма.

и Иван Николаевич увидел на первой же странице своё изображение, а под ним свои собственные стихи” [3, т. 5, с. 17].

“Педантичный исследователь” может возразить, что “Литературная газета” стала издаваться в 1929 году, и Есенина к тому времени уже не было в живых. Подобные возражения нельзя принять по весьма простой причине. Когда читаешь “труды о романе”, часто замечаешь любопытное обстоятельство: их авторы увлекаются и совершенно забывают, что мир булгаковского романа — это не наш реальный мир, он является только некоторым фантастическим, во многом аллегорическим, но всего лишь его отражением, вне реального времени и пространства. Но приходится удивляться, как персонажей романа и даже его автора часто начинают судить [8], в том числе и по религиозным меркам.

Хотя Булгаков именовал свой роман кратко, для родных и друзей, как “роман о дьяволе”, надо всё же помнить, что это фантастический роман о дьяволе, с большой долей пародийных, сатирических и юмористических элементов. И в этом, фантастическом мире романа “прославленный” поэт Бездомный унаследовал многие характерные черты, и даже биографические подробности, знаменитого русского поэта советского времени Сергея Есенина. И в самом деле, стихи Есенина с его портретом, при его жизни печатались во многих советских газетах.

Любой писатель с ревностью для себя отмечал это обстоятельство, и особенно Булгаков, которому с некоторых пор любые публикации в советской прессе “были заказаны”. Но было и обстоятельство, сближающее писателя с поэтом. В советской партийной прессе оба не раз подвергались жестокой травле, была объявлена борьба как с “есенинщиной”, так и с “булгаковщиной”, а затем книги Есенина и Булгакова на десятилетия стали “запретной литературой”. Подобно Мастеру и Бездомному в романе, Булгаков и Есенин были “товарищами по несчастью”, часто становились жертвами “дьявольщины” и “чертовщины” реального мира.

Но продолжим поиск совпадений. Их немало в первой главе, и одно из главных — богоборческая тема в творчестве Бездомного и Есенина. Редактору журнала Берлиозу не понравилась идея “большой антирелигиозной поэмы” Бездомного, где Иисус выведен поэтом “очень чёрными красками”, но всё же как реально существовавший человек.

Этой темой Булгаков заинтересовался еще в начале 1925 года, и изучив журнал “Безбожник”, записал в дневнике: “. . . был потрясён. Соль не в кощунстве, хотя оно, конечно, безмерно, если говорить о внешней стороне. Соль в идее, её можно доказать документально: Иисуса Христа изображают в виде негодяя и мошенника, именно его. Нетрудно понять, чья это работа. Этому преступлению нет цены” (запись от 5 янв. 1925 г.). Но ко времени действия романа поэт Бездомный, написавший свою поэму в духе этой идеи, уже отстал от новейших “идейных установок” сверху. Их и внушал редактор Берлиоз “непонятливому” поэту: “Нет ни одной восточной религии <...> в которой, как правило, непорочная дева не произвела бы на свет бога. И христиане, не выдумав ничего нового, точно так же создали своего Иисуса, которого на самом деле никогда не было в живых. Вот на это и нужно сделать главный упор...” [3, т. 5, с. 10].

Сразу после революции Сергей Есенин, как и многие другие поэты, в том числе и имажинисты, отдал дань богоборческой теме. Кульминацией была акция имажинистов, когда в мае 1919-го антирелигиозными стихами ночью в Москве был разрисован Страстной монастырь. Кошунственное для верующих четверостишие Есенина “Вот они толстые ляжки / Этой похабной стены...” прогремело на всю столицу, хотя уже на следующий день его замазали [9, т. 2, с. 268–269]. В 1920 году на Пасху Есенина чуть не избили (спасли матросы) в Харькове, когда он стал читать свои поэмы перед праздничной толпой: “Не молишься тебе, а лаяться / Научил ты меня, Господь”, “Тело, Христово тело, / Выплёвываю изо рта!” и т. п. [9, т. 2, с. 346–347].

И зарубежные, и даже советские партийные литературоведы подвергали имажинистов за это направление резкой критике, как правило, выделяя Есенина за талант, а негативные, на их взгляд, тенденции в его творчестве приписывая групповому влиянию. С другой стороны, за близость к группе поэтов, выходящей из деревни, Есенина, Клюева, Клычкова и других определяли как “поэтов мужицко-хлыстовской революции”, также чуждых пролетарской революции.

По отношению к Есенину при его жизни советские партийные критики во многом вели себя подобно редактору Берлиозу по отношению к поэту Бездомному. Ему многое прощали по молодости, советовали овладеть трудами классиков марксизма и далее творить, руководствуясь партийными установками в области литературы. Есенин не был противником советской власти, но он отвергал всякий партийный диктат по отношению к творческим людям. К его несчастью, вольно или невольно, он оказался вовлечён в водоворот ожесточённой борьбы за власть между “наследниками” Ленина. Это и стало главной причиной его гибели.

Булгаков в романе “Мастер и Маргарита” в образе поэта Бездомного, судя по всему, хотел выразить своё отношение к Сергею Есенину, поэтам и поэзии того поколения.

Внимательное изучение поведения Бездомного приводит к мысли, что Булгаков очень тонко пародирует бесчисленные публикации советской “бульварной” прессы о Сергее Есенине. При этом связанные с поэтом скандалы, драки, происшествия, как правило, объяснялись пьянством. Во всяком случае, такова была официальная версия советской прессы и советского литературоведения.

И вот Булгаков в своём романе фактически высмеивает эту версию – Бездомный не пьян, но встретившись с чертовщиной и “дьявольскими штучками”, пытается бороться, ведёт себя так, что его принимают за пьяного: *“Одинокий, хриплый крик Ивана хороших результатов не принёс. Две какие-то девицы шарахнулись от него, и он услышал слово “пьяный!”*. Далее в сцене у “Грибоедова”: *“Бас сказал безжалостно: – Готово дело. Белая горячка”* [3; т. 5, с. 50, с. 63].

Любопытно, что и сам Есенин, многократно попадавший в милицию, в своих письменных показаниях так же, как правило, объяснял свое поведение “нетрезвым состоянием”*. Дело в том, что в те времена это считалось смягчающим обстоятельством и позволяло в каких-то случаях избежать уголовной ответственности. Но на самом деле существуют воспоминания близких родных Есенина, близких друзей и подруг, что “срывы” у Есенина были редки, а есенинский “алкоголизм” многократно преувеличен тогдашней прессой. Например, в своих воспоминаниях подруга Есенина Надежда Вольпин, как о чём-то второстепенном, замечает, что во время застолья в “Стойле Пегаса” поэт *“пьёт мало (как обычно, только вино – не водку)”* [10, с. 406].

А вот желающих выпить с известным поэтом, да ещё за его счёт, было предостаточно, и Есенин попадал на этой почве в скандалы и переделки. “Друзья” каким-то образом всегда разбегались в последний момент, а милицию всегда интересовал только Есенин. Потом все эти события живописались в советской “жёлтой” прессе.

В этот период Булгаков работал в газете и уже налаживал связи с театральным миром. Случай в Малом театре в апреле 1924-го весьма напоминает поведение поэта Бездомного.

Есенин и писатель Всеволод Иванов зашли к одной из артисток в гримёрную. Когда она ушла на сцену, *“попросили у уборщицы стаканы и, пользуясь одиночеством, изрядно распили принесённое с собою вино”*. Потом в антракте артистка вернулась для переодевания, попросила “гостей” удалиться, но якобы вразумить их не удалось даже с помощью администрации и работников театра. Вызвали милицию: *“Увидя милиционера, Есенин бросился бежать по коридору, причём по пути на лестнице он ударил шедшего навстречу Володю Богачёва – мальчика, на обязанности которого было вызывать актёров к их выходу. Это возмутило Н. О. Волконского (режиссёра театра. – В. М.), и он, обладая значительной физической силой, нагнав Есенина, крепко ударил его в спину. Есенин продолжал бежать и, не зная расположения закулисных помещений, чуть было не выскочил на сцену во время хода действия. К счастью, его успел схватить стоявший на выходе артист А. И. Истомина <...> Есенина повели в кабинет администратора и там*

* Из показаний Есенина в 48-е отделение милиции Москвы: “6-го сентября по заявлению Дип. курьера Рога я на проезде из Баку (Серпухов – Москва) будто бы оскорбил его площадной бранью. В этот день я был пьян. Сей гражданин пустил по моему адресу ряд колкостей и сделал мне замечание на то, что я пьян. Я ему ответил теми же колкостями” (протокол допроса от 29/X 1925) [11; т. 7, кн. 2, с. 263–264].

начали составлять протокол”. Туда же зашёл режиссер И. С. Платон. “Увидя его, Есенин, внимательно всматриваясь в лицо Ивана Степановича, не без иронии и сарказма спросил его: “А что вы сделали для революции?!””, после чего И. С. Платон тотчас же скрылся. Составив протокол, милиционер вывел Есенина из театра, и этим инцидент был исчерпан” — [11; т. 7, кн. 2, с. 346–348].

Эпизод с Платоном показывает, что Есенин был не столь пьян, чтобы требовалась помощь милиции. По этому поводу близко знавшая его С. Виноградская вспоминала: “Это были обычные истории, которые быстро прекращались, если присутствующие умели подойти к Есенину. И эти же истории легко переходили в скандал в компании тех “друзей”, которые, вместо того, чтобы отвлечь его внимание от того, что его раздражало и вызывало злобу, подбивали его на скандал” [10, с. 25]. В связи с этим и “инцидент” в Малом театре видится совсем в другом свете. И почему писатель Иванов был обойдён вниманием милиции? Изучение биографии Есенина показало, что скандалы с вмешательством милиции происходили только в Москве. Как будто именно там его поджидали “слуги Воланда” или другого “чёрного человека”? Будучи во многих городах СССР, попадая тоже в переделки и неприятности, тем не менее, все проблемы Есенин всё же решал без участия милиции. А в Москве на Есенина было заведено около десятка уголовных дел!

Вот и скандалу, устроенному поэтом Бездомным в “Грибоедовском ресторане”, тоже находится аналог среди есенинских скандалов*. Они широко освещались в московских газетах, и Булгаков не мог не читать эти статьи, потому что это было как раз в период его работы в “Гудке”.

Газета “Рабочая Москва”, наиболее отличившаяся в травле и клевете на Есенина, 22 янв. 1924 г. опубликовала статью “Новые подвиги поэта Есенина”: “Во 2-м часу ночи, 19-го января в кафе „Домино”, на Тверской ул., зашел прославившийся своими пьяными выходками поэт Есенин. Есенин был сильно пьян.

Швейцар пытался не пустить пьяного в кафе, Есенин набросился на швейцара и силой ворвался в помещение.

— Бей конферансье, — кричал скандальный поэт. Завязался скандал. Швейцар вызвал милицию.

Явился постовой милиционер Громов и предложил Есенину:

— Пожалуйте в 46 отделение. . .

Но справиться одному милиционеру с буйным Есениным было не под силу. Пришлось звать дворника.

По дороге Есенин совсем вошёл в азарт. Дворник и милиционер, не согласившиеся с его лозунгом — “Бей жидов, спасай Россию”, были избиты. При этом поэт совершенно не стеснялся в выражениях, обзывая своих спутников “жандармами, старой полицией, сволочью” и т. д. Попутно обругал Демьяна Бедного и Сосновского (автора провокационных статей о Есенине. — В. М.)

В отделении Есенин продолжал буйствовать, кричать и ругаться.

Пришлось вызвать врача, определившего у Есенина сильную степень опьянения и нервного возбуждения.

Наутро, вытрезвившись, Есенин был отпущен под подписку. Это уже третья по счёту подписка” [11; т. 7, кн. 2, с. 341–343].

Подобным образом, почти всем эпизодам с поэтом Бездомным в романе “Мастер и Маргарита” можно найти аналог в биографии Есенина. Не раз его обворовывали, грабили и раздевали, так что подобно Бездомному, приходилось какое-то время пользоваться чьими-то обносками. Трижды Есенин был пациентом психиатрических больниц, в том числе и за границей.

Несомненно, Булгаков обо всём этом знал, и всё же, если в его романе Бездомный выведен, как своеобразная карикатура на Есенина, то это карикатура совсем другого рода, чем на многих других персонажей. Булгаков явно не был поклонником творчества Есенина, и это он тоже отразил в образе Бездомного. Однако Мастер, прототипом которого является сам Булгаков, и Бездомный (Есенин) оказываются в романе товарищами по несчастью, оба

* Свой последний скандал Есенин устроил перед отъездом в Ленинград в конце декабря 1925 г. в писательском “Доме Герцена”, ставшем прототипом “Дома Грибоедова” в романе “Мастер и Маргарита”.

в итоге находят прибежище от “чертовщины” внешнего мира в психиатрической больнице, дружески и доверительно общаются!

Что же этим хотел показать Булгаков, в чем тут аллегория, что здесь скрыто между строк? Как говорится, сказка — ложь, да в ней намёк...

Булгаков видит и себя, и Есенина, талантливейших русских людей, попавшими в ненормальные условия. Это мир вокруг сумасшедший, и тогда в этом мире остаётся одна дорога для таких людей — больница или психушка, и далее смерть. При этом Булгаков самокритичен — Мастер и Маргарита в итоге идут на сделку с дьяволом и уходят в мир иной, а поэт, хоть и с советских, атеистических позиций, но не приемлет дьявола. Он держится за жизнь, даже оставшись “тяжко больным”, чьё душевное равновесие зависит от уколов и лекарств.

Можно понять, что Булгаков не верил тем нагромождениям лжи в советской прессе о Есенине, хотя бы потому, что подобной травле и клевете постоянно подвергался сам. И образ Бездомного явился глубоким проникновением в истинный образ Есенина. В романе поэт Бездомный только ведёт себя как пьяный, но ни разу не пьёт. Тем самым читатель подводится к выводу, что “пьянство” Есенина раздуто в прессе, и не это главное в его жизни. А вот поэт Рюхин, напротив, показан пьющим водку “рюмка за рюмкой”.

Этот вывод соотносится с воспоминаниями С. Виноградской: *“Просто мерзко слушать “предположения”, что Есенин писал стихи пьяным. Ни разу в жизни ни одной строчки он не написал в нетрезвом состоянии!”* [10, с. 29].

А как же главный миф советской прессы и советских официальных кругов о “самоубийстве” Есенина? Есть ли в сюжетной линии романа, связанной с поэтом Бездомным, суждения Булгакова о гибели поэта Есенина?

Зная отношение Булгакова к лживости советской прессы, уже понятно, что Булгаков явно не верил в созданный ею миф о самоубийстве поэта*. Косвенно этот вывод следует из сохранившихся строчек дневника писателя: *“Мельком слышал, что умерла жена Будённого. Потом слух, что самоубийство, а потом, оказывается, он её убил. Он влюбился, она ему мешала. Остаётся совершенно безнаказанным.*

По рассказу — она угрожала ему, что выступит с разоблачениями его жестокости с солдатами в царское время, когда он был вахмистром” (запись от 17 дек. 1925 г.).

А вот дальнейшие записи в дневнике писателя не сохранились, и, как видно, не случайно. Там должны были быть мысли Булгакова по поводу смерти Есенина. Но 7 мая 1926 года к писателю пришли с обыском, изъяли дневник, рукописи (в том числе “Собачье сердце”). Ныне известны только фрагменты дневника за 1925 год. Причём в основном только за январь**.

Поэтому призовём на помощь логику и зададимся вопросом, почему КГБ, возвращая копию дневников в архив Булгакова много десятилетий спустя во времена перестройки, сохранил фрагмент о преступлении Будённого, а о смерти Есенина изъял? Почему, несмотря на то, что теперь имеются неопровержимые доказательства убийства Есенина [12, 13], нынешние российские власти до сих пор отказываются признать это официально?

Ответ на оба эти вопроса один: потому что преступление Будённого, совершил он его или нет, это дело частного лица, дело семейное. Преступление против Есенина — это преступление государства против своего гражданина, знаменитого российского поэта. Преступление это настолько мерзкое

* О “зомбированности” даже серьезных советских литературоведов официальной версией смерти Есенина можно понять на примере М. Чудаковой. Если отмечается, что для Булгакова и его друзей “самоубийство Есенина прошло в их кругу “незамеченным” [2, с. 505], то и мысли не возникает о возможности убийства поэта. Если приводится суждение Булгакова в период тяжелой болезни (1939), что при самоубийстве “есть один приличный вид смерти — от огнестрельного оружия, но такового у меня, к сожалению, не имеется” [2, с. 505–506], то забывают узнать, что у Есенина это оружие имелось. Когда об этом напоминают, то начинаются намеки на “внезапное безумие” или “алкоголизм” поэта, и т. п.

** У Булгакова изъяли три тетради дневников за 1921–1925 годы, рукопись под названием “Чтение мыслей”, и ещё два чужих стихотворных текста, имевших отношение к Есенину: “Послание евангелисту Демьяну Бедному” и пародию Веры Инбер на Есенина — образцы самиздата тех лет [14]. “Послание” тогда приписывали Есенину, но сейчас многие исследователи в его авторстве сомневаются.

и подлое, что в нём не хотят сознаться даже теперь, через 90 лет. Но все честно мыслящие люди имеют возможность в этом преступлении убедиться, все документы, десятилетия бывшие запретными, опубликованы в интернете племянницей поэта Светланой Петровной Есениной.

Величие Булгакова состоит и в том, что он не написал ни единой лживой строчки о смерти Есенина, даже в аллегорической форме.

Но как же тогда понимать сведения о Бездомном из эпилога романа? О нём повествуется, когда он уже “лет тридцати или тридцати с лишним”. А это как раз возраст Есенина в 1925 году, на момент смерти. Бездомный оставил поэтические занятия, как и обещал Мастеру, теперь он “сотрудник Института истории и философии, профессор Иван Николаевич Понырёв”. С помощью врачей, лечения и постоянных уколов он почти “нормальный”: *“Он знает, что в молодости стал жертвой преступных гипнотизёров, лечился после этого и вылез”* [3; т. 5, с. 381].

Трудно поверить, что Есенина, если бы он остался жив, ожидала подобная судьба. Но мог ли разумный человек, такой, как писатель Булгаков, поверить в самоубийство Есенина? Например, что и Есенин стал “жертвой преступных гипнотизёров”? Вот и приходим к выводу, что эпилог романа содержит аллегорическую пародию на версию самоубийства поэта. Ведь если поэт отказывается от своей поэзии, это тоже своего рода духовное самоубийство.

С точки зрения Булгакова, за свою жизнь неоднократно оказывавшегося в трудных, и, казалось бы, безвыходных ситуациях, Есенин был “баловень судьбы”. Множество изданий с радостью печатали его произведения, ему предлагали редактировать журнал, готовилось к изданию его собрание сочинений. Булгаков об этом мог только мечтать, ему вскоре после смерти Есенина пришлось оставить сначала карьеру писателя, потом драматурга, режиссера и заниматься подённой работой либреттиста и сценариста. А ведь именно литературный или театральный успех и составляет смысл жизни литератора.

Недаром в заключение своих воспоминаний С. Виноградская писала о Есенине: *“Издание полного собрания занимало его. Он заранее предвкушал шуршать первый том своих стихов и говорил: — Вот в России почти все поэты умирали, не увидав полного издания своих сочинений. А я вот увижу своё собрание. Ведь увижу!”* [10, с. 36].

Имеется подтверждение и в письме Есенина: *“Этого собрания я желаю до нервных вздрагиваний. Вдруг помрёшь — сделают всё не так, как надо”* [11, т. 6, с. 184].

Разумеется, писатель и литератор Булгаков и не мог поверить, что поэт и литератор Есенин вдруг потерял разум, и сам лишил себя такой желанной возможности. Ведь Булгаков был вынужден долгие годы в конце жизни вообще писать “в стол”.

Советские пресса, литературоведение и пропаганда многие десятилетия вдалбливали в головы людей абсурдную ложь о самоубийстве Есенина. К сожалению, вольно или невольно унаследовала эту ложь и нынешняя российская власть*.

В заключение вспомним, что, по мнению М. Чудаковой, герой, названный впоследствии Мастером, входит в замысел романа не ранее 1930–1931 гг. [2, с. 499]. Но к этому времени уже вышла книжка В. Эрлиха “Право на песнь” [10, с. 194], где приводится такое суждение Есенина о мастерстве поэтов: *“Все они думают так: вот — рифма, вот — размер, вот — образ, и дело в шляпе. Мастер. Чёрта лысого — мастер! Этому и кобылу научить можно! Помнишь “Пугачёва”? Рифмы какие, а? Все в нитку! Как лакированные туфли блестят! Этим меня не удивить. А ты сумей улыбнуться в стихе, шляпу снять, сесть — вот тогда ты мастер!..”*

Здесь выражена мысль, приложимая не только к стихам, но и вообще к художественным произведениям, — в работах настоящих мастеров всегда содержится гораздо больше того, что видит поверхностный взгляд. Повлияли на Булгакова эти строки или нет, читал он их или нет — в своих произведениях он тоже следовал этому есенинскому завету.

* Досье “органов” на Булгакова, которое вели с 1922 г., стало доступным для исследователей [14], а вот вопрос, где соответствующее досье на Есенина, остаётся без ответа даже для родственников поэта.

ЛИТЕРАТУРА

1. Воспоминания о Михаиле Булгакове: сборник. М., Советский писатель, 1988.
2. М. Чудакова. Жизнеописание Михаила Булгакова. М., Книга, 1988.
3. М. А. Булгаков. Собрание сочинений в пяти томах. М., Художественная литература, 1990–1992.
4. Л. Е. Белозерская-Булгакова. Воспоминания. М., Художественная литература, 1989.
5. Б. В. Соколов. Булгаков: Энциклопедия. М., Алгоритм, 2003.
6. Дневник Елены Булгаковой. Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. М., Кн. палата, 1990.
7. Н. Шубникова-Гусева. Сергей Есенин и Галина Бениславская. С.-Петербург, Росток, 2008.
8. А. Кураев. “Мастер и Маргарита”: за Христа или против? – <http://kuraev.ru>.
9. Летопись жизни и творчества С. А. Есенина. В пяти томах. М., ИМЛИ РАН, 2003–2005.
10. Мой Есенин. Воспоминания современников. Екатеринбург, У-Фактория, 2008.
11. С. А. Есенин. Полное собрание сочинений: В 7 т. – М., Наука; Голос, 1995–2002.
12. С. П. Есенина. Истина видится на расстоянии (Вновь о гибели С. Есенина). – <http://esenin.ru>.
13. В. Мешков. Убийство Сергея Есенина. – <http://esenin.niv.ru>.
14. В. Шенталинский. Мастер глазами ГПУ. За кулисами жизни Михаила Булгакова. Новый мир, 1997, № 10.
15. В. Сахаров. Михаил Булгаков: писатель и власть. М., ОЛМА-ПРЕСС, 2000.

г. Симферополь

Нева

2006 №12

Морозов Г. Актриса и поэт



В моей старой записной книжке сохранился московский адрес Августы Леонидовны: улица Донелайтиса, дом 12, корпус 2, квартира 110. И даже записано, как следует добираться до адресата. Ехать нужно было на метро до станции «Речной вокзал», а далее автобусом 119 до остановки «Улица Донелайтиса».

Вот по этому адресу, однажды взятому мной в одном из справочных бюро Москвы, расположенном неподалеку от памятника Маяковскому, я и отправился вместе с поэтом Борисом Гучковым к той самой Миклашевской, ставшей знаменитой благодаря созданному Сергеем Есениным циклу стихов «Любовь хулигана», в котором семь стихотворений были посвящены ей, известной в то время актрисе. Он обессмертил ее

имя.

Помню, что где-то по пути купили мы торт и крупные ярко-красные гвоздики. От нашего Литинститутского студенческого общежития, расположенного на улице Добролюбова, добирались мы до актрисы не менее полутора часов. Панельный девятиэтажный дом 12 пришлось искать нам недолго: его белеющий силуэт четко проступал в сизой мгле октябрьского вечера. Мы вошли в подъезд и стали медленно подниматься по гулкой бетонной лестнице. Волнуясь, подошли к обычной стандартной двери, обитой темно-коричневым дерматином. Это был не сон, а явь: мы действительно находились перед заветной квартирой той женщины, с которой встречался молодой Есенин. Конечно, сразу же вспомнились его знаменитые строчки: «Дорогая, сядем рядом, поглядим в глаза друг другу, я хочу под кротким взглядом слушать чувственную вьюгу».

Мне вдруг подумалось: неужели я сейчас увижу ее... уже старенькую, согбенную, с дребезжащим, как ржавый колокольчик, голосом. Честно говоря, мне не хотелось видеть ее такой. Не стоило разрушать ее чарующий женский образ, запечатленный в стихах поэта. Молча стоял я несколько минут перед заветной дверью. А сзади — мой друг и земляк Борис Гучков. Он тоже, как и я, затаил дыхание и переживает редкую и удивительную минуту в своей жизни. Через несколько мгновений рука моя потянулась к черной кнопке электрического звонка, и он издал какой-то зудящий, шмелиный звук. И вот мы слышим мелкие, суетливые шаги, резкое металлическое щелканье замка. Тихо открылась входная дверь. Я чуть-чуть зажмуриваю глаза и сквозь легкий прищур вижу седую голову, прямые волосы, забранные под гребенку, светлых тонов домашний халат, очень живые злато-карие глаза и восторженный, ликующий голос: «Ой, мальчики, я вас так давно не видела! Ну заходите же скорее!» Помню, мне подумалось в эту минуту: «Да она, кажется, не в своем уме...» На какое-то мгновение мы буквально опешили. А тем временем Августа Леонидовна ласково, как многие сердобольные старушки, приглашала нас к себе, как будто мы были ее внуки или близкие родственники. И вот я уже более внимательно разглядываю ее. Августа Леонидовна совсем небольшого роста, сухонькая, живо и нервно жестикулирует. Вот она встала боком, пропуская нас в квартиру. Я вижу ее прямой нос, слегка заостренный подбородок, четкую линию тонких, как ниточка, губ. Медленно и стеснительно перешагнули мы небольшой порог квартиры и оказались в тесной прихожей. Начинаем знакомиться. Августа Леонидовна протягивает мне свою легонькую ладошку. Преподносим ей цветы и торт. Услышав наши голоса, выходит из соседней комнаты пожилая, но еще стройная женщина. И здесь же, в прихожей, Августа Леонидовна знакомит нас со своей сестрой — камерной певицей — Тамарой

Леонидовной. Актриса ведет нас по узкому коридору в свою комнату. На стенах развешены фотографии Есенина. А на столике, на подоконнике, на шкафу — небольшие скульптурные фигурки Есенина, маленькие гипсовые бюсты поэта. Несколько фотографий самой Августы Леонидовны развешаны над ее кроватью. Тут же, рядышком, квадратной формы старый репродуктор. Потом, во время нашего душевного разговора, актриса печально посетует: «Обидно, что стали так редко читать по радио есенинские стихи». Она продолжала: «Да вы не стесняйтесь, проходите, рассаживайтесь, ребята». Аккуратно ставит гвоздики в хрустальную вазочку.

Между тем Борис Гучков мягко опускается в кресло, а я присаживаюсь рядышком на краешек стула.

— Между прочим, в этом кресле незадолго до отъезда в Ленинград, в 1925 году, сидел Есенин. Он заходил ко мне, чтобы проститься... Был очень грустным и часто вспоминал некоторые наши встречи и то время, когда создавались его лирические шедевры, вошедшие в цикл «Любовь хулигана». В нем семь стихотворений было посвящено мне. Хочу заметить, что выходящие современные издания мое имя вычеркивают, а при жизни поэта стихи печатались с посвящением. Непонятно — почему такое происходит? Цензура, что ли, запрещает, или новые редакторы такие невежественные? — грустно заметила актриса. Борис Гучков, услышав от Августы Леонидовны о том, что в этом кресле, где он сейчас сидит, когда-то, в далеком двадцать пятом году сидел гениальный поэт, резко вскочил. Я заметил, как он сразу же побледнел. Хозяйка квартиры ласково успокоила его: — Да вы присаживайтесь! Именно вот так — все сразу же вскакивают, как ошарашенные, когда узнают об этом.

В тот памятный и волнующий вечер сидели мы за круглым столом из красного дерева, пили малинового цвета пахучий чай, расспрашивали Миклашевскую о Есенине. А если она что-то забывала, то ее воспоминания дополняла своими рассказами о поэте, сестра Тамара Леонидовна. Конечно, я еще до этой встречи читал все воспоминания Августы Леонидовны, но то, о чем она поведала нам, еще не было опубликовано. Рассказала она, как разводилась со своим мужем — Миклашевским, которого не любила. Говорила: — Я холодная женщина. Поэтому я только один раз «теряла» голову, полюбив танцовщика Большого театра Лощина. Я ждала от него ребенка. Из-за этой любви чуть было не погибла. Однажды ко мне пришла молодая женщина и стала требовать от меня совершенно невозможного, чтобы я оставила в покое танцовщика. Оказывается, она тоже любила его. У нас пошел с ней яростный и враждебный разговор. Когда стемнело, то моя соперница неожиданно выхватила из своей сумочки дамский пистолет и тут же выстрелила в меня. Первая пуля попала мне в руку. Вторая — слегка царапнула плечо, а третья пролетела выше головы. В нашем доме жили офицеры. Я кинулась за помощью к ним, обезумевшая от ужаса. Но задержать эту роковую и таинственную незнакомку даже офицеры не смогли — она быстро исчезла в узких переулочках старой Москвы. Это было в 1918 году. От Лощина у меня родился сын. Во время войны он служил в разведке. С фронта не вернулся. А с Есениным у нас в это время была чистая и нелепая дружба. Но любила я не его, а Федора Васильевича. Ведь сердцу, как говорится, не прикажешь. Сережа Есенин просто ухаживал за мной, писал и посвящал мне свои гениальные стихи. Наши свидания-встречи проходили в разных уголках Москвы. Однажды он ждал меня у кафе «Стойло Пегаса», чтобы подарить мне новые стихи, опубликованные в одном из лучших журналов той поры — «Красной нови». Помню, что был очень холодный день. Поэт стоял у входа в кафе — в темном длинном пальто и летних модных ботинках. Шею окутывал широкий красный шарф, похожий на вспыхнувшее пламя. В руках он держал нежные, еще не до конца распустившие розы и журнал со стихами. Несмотря на то, что я опоздала на целых сорок минут — не смогла прийти вовремя из-за того, что была на репетиции, — все равно Сережа был рад, что я пришла. Он ничуть не роптал, а вручил мне изумительные цветы и журнал, тихо, почти шепотом, сказал: «Там стихи о тебе». Цикл открывался стихотворением «Заметался пожар голубой...». Мы вошли в кафе. Сели

за столик. Тут же нас окружили знакомые поэты, актеры и художники. Потом началась шумная застолье. Просидели мы в кафе чуть ли не до рассвета. Сергея просили читать стихи. Декламировал превосходно, как говорится, «поймал кураж». Аплодисменты были долгими, все время просили читать и читать. Ушли из кафе только на рассвете. Молоды мы были тогда и беспечны.

Августа Леонидовна продолжала рассказывать, а я вспоминал эти изумительные есенинские стихи, прочитанные мной еще в самой ранней юности и до глубины души потрясшие меня своей исключительной искренностью, пластическим и текучим лиризмом. И вот сижу я в гостях у героини этих стихов, ставших нашей бессмертной классикой. Героиня — в довольно преклонном возрасте, а стихи как были — молодыми, пленительно-грустными, так и остались такими. Это несоответствие томило и угнетало меня весь этот необыкновенный вечер. Внимательно и пытливо всматривался я в глаза Августы Леонидовны, чуть выцветшие, но еще сохранившие прежний лучистый блеск. Сразу же вспомнилась есенинская строка, точно передающая цветовую гамму ее взгляда: «Глаз твоих золото-карий омут». А ее имя поэт воспел в строке: «Что ж так имя твое звенит, словно августовская прохлада!»

О многом было переговорено в тот мглистый осенний вечер. Августа Леонидовна не раз вспоминала многие литературные имена, в том числе и Маяковского. Оказывается, он приходил к ней, чтобы посмотреть на ту, которой Есенин пишет такие чудесные стихи. Говорила она нам еще о том, как Сергей, узнав, что ее сестра Тамара Леонидовна взяла на воспитание приемного сына, приходил к ней, чтобы посмотреть на мальчика и поласкать его. Августа Леонидовна сетовала:

— Вот иногда недоброжелатели пишут, что Есенин был чрезвычайно грубым и развязным. Лично я его таким никогда не видела. Он был очень человечным. А со мной даже иногда застенчивым, стеснительным. Возможно, что это было обусловлено серьезным любовным чувством ко мне. Ведь если бы его не было, то навряд ли бы он создал такие глубокие, открытые и печальные стихи о любви... Не подумайте, что я приукрашиваю его внутреннюю суть, его натуру и характер. Нет! Нет! Он был сложным, даже очень сложным человеком. И храбрецом. Однажды после спектакля, поздней ночью, провожал он меня до дома вместе с Ванечкой Грузиновым. Время было тревожное. Подходим к моему подъезду и видим: стоят какие-то подозрительные типы. Кинулись к нам — и началась драка. Есенин драться умел: сильный, мускулистый, ловкий был парень. Его белая рубашка, как порхающая бабочка, мелькала в темноте. Если бы не он, то мы вряд ли отбились бы от ночных хулиганов. Разговор шел у нас и об окружении Есенина. Миклашевская рассказала нам о Мариенгофе и Шершеневиче. Последний даже приударял за ней. Говорила, что ни тот, ни другой друзьями Есенину не были, хотя и дружили, но это была «дружба вежливости», исходящая от чисто меркантильных соображений. Их имена и так называемое «творчество» никто бы не знал, но только благодаря их знакомству с великим Есениным они «мерцают» в истории литературы. Всех их поначалу объединяла молодость, но далее они все больше отдалялись друг от друга, тем более что слава Есенина была поистине всенародной. Сама эпоха требовала таких исповедальных стихов, которые создавал Сергей Александрович.

Вспоминала Августа Леонидовна и свою первую поездку в Константиново 2 октября 1965 года. Она присутствовала на открытии Есенинского музея. Кстати, там были и грузины. Узнав, что у Миклашевской прабабка по материнской линии была грузинкой, они во время есенинских торжеств чуть было не на руках носили ее. Рассказывала нам Августа Леонидовна и о театре. Ей пришлось за свою большую творческую жизнь работать в разных городах страны: в Москве, Брянске и в нашей Рязани. Коснулась она и судьбы Зинаиды Райх. Жутко было слушать ее, когда она рассказывала о зверском убийстве Зинаиды Николаевны. В то время за стеной жил кто-то из актеров. Дикие предсмертные крики, доносившиеся из квартиры Райх, слышал сын этого актера, но не придавал им особого значения, ибо посчитал их за очередной нервный срыв бывшей жены Есенина.

Подобное повторялось довольно часто. Миклашевская сказала: — Вообще эта дамочка-актриса была законченной истеричкой. Поэтому Есенину, чтобы спасти себя как поэта (а цену себе он знал!), пришлось в конце концов развестись, что он и сделал. Сергей в буквальном смысле удрал от Зиночки. Она далее в больнице, где его лечили от временного расстройства нервной системы, устраивала чуть ли не скандалы. В категоричной форме требовала от него денег, которые он должен был получить за свое трехтомное собрание сочинений.

От таких невеселых разговоров мы вскоре перешли к непринужденным, легким и веселым. И первый шаг к шутке и смеху умело, по-артистически, сделала сама хозяйка, особенно когда стали мы листать ее пухлый семейный альбом с фотографиями. Среди профессиональных, хорошего качества снимков попадались и чисто любительские фотографии, сделанные во время спектаклей, а также те, что запечатлели Миклашевскую в домашней обстановке. Очень хороша была фотография, где Августа Леонидовна позирует перед фотографом в роли Анны Карениной.

Веселым шуткам не было конца. Смеясь, Августа Леонидовна обратилась к нам: — Вы поначалу, наверное, подумали, что я чокнутая. Помните, как, увидев вас, я восторженно воскликнула, что уже давно жду моих мальчиков. А я, как видите, слава Богу, еще в своем уме. Мне ведь ни много ни мало, а целых семьдесят пять! Не сердитесь, пожалуйста, что я вас перепутала с другими людьми. Дело в том, что тут нас с Тamarой молодежь навещает. Помогают нам: бегают в магазин за продуктами. Мы очень благодарны им. Они боготворят Есенина, собирают вырезки о нем, покупают многие его книги. Одним словом — есенинцы. На Ваганьковском кладбище за могилой поэта ухаживают. Приходят туда в свободное время или в день рождения поэта и читают посетителям и туристам стихи Сергея Александровича.

В эти веселые минуты мы еще ближе и духовнее сроднились с Августой Леонидовной. А когда разговор наш коснулся сугубо интимных отношений поэта и актрисы, то я в конце нашей беседы (да простит мне читатель эту нахалинку!), не удержавшись, спросил Миклашевскую: целовалась ли она с Есениным. Помолчала Августа Леонидовна, загрустила и, вспоминая давнее, отдаленное от нас более чем пятью десятками лет, просясь, ответила:

— Нет, не целовалась, но любила гладить его кудрявые волосы, мягкие, шелковистые. Было мгновение, когда он лишь единственный раз коснулся губами моего лба. Вот и все. На прощание Миклашевская вынула из альбома свою фотографию и сделала дарственную надпись на ней: «Геннадью Морозову на память о наших встречах с С. Есениным. Августа Миклашевская. 13.X.76 г.». Я искренне поблагодарил актрису за такой редкий подарок, сказав: «Августа Леонидовна, у вас, должно быть, эта фотография последняя, вы ее оставьте у себя. Я весь вечер фотографировал вас, проявлю пленку, сделаю карточки и подарю вам. На одной из них напишите мне свой автограф». Фотографировал я довольно много: сначала отснял Миклашевскую, потом ее сестру Тamarу Леонидовну, сделал общий снимок всех нас, а потом отснял часть интерьера их двухкомнатной квартиры. Даря мне свою фотографию, Августа Леонидовна словно предчувствовала что-то. И ее смутное и тревожное предчувствие оправдалось. Мистика какая-то! Действительно, случилось непредвиденное: во время утренней прогулки с собакой своих московских родственников, у которых проявил пленку, я ее случайно выронил из кармана куртки. Так, по моей небрежности, были утеряны уникальные снимки, запечатлевшие эту нашу необыкновенную и редкую встречу. Очень жаль. Когда пошел уже двенадцатый час ночи, мы тепло простились с гостеприимными Августой Леонидовной и ее сестрой. Как только вышли мы на улицу, то сразу же почувствовали резкое похолодание — колючий, режущий ветерок гнал по московским улицам жухлые, сухие листья. В клочковатых тучах мелькала зеленоватая луна, и ее фантастический, таинственный свет дробился и переливался в желтых отсветах столичных фонарей.

**Наш современник
2012 №6**

**Павлов Ю. «Есенин» без Есенина,
или Путь в беспутье**



1206-19.pdf

ЮРИЙ ПАВЛОВ

“ЕСЕНИН” БЕЗ ЕСЕНИНА, ИЛИ ПУТЬ В БЕСПУТЬЕ

Новая книга Аллы Марченко “Есенин: путь и беспутье” (М., 2012) многим отличается от “Поэтического мира Есенина” (М., 1972, 1989), одной из первых попыток этого исследователя постичь творчество русского гения. Отличается, прежде всего, тем, что это *другая* книга о поэте, не дублирующая предыдущую, как часто бывает в подобных случаях. В новой книге упор сделан на жизнь Есенина, на её идейно-любовные стороны. Неизменной же осталась позиция Марченко – неприятие Есенина как одного из человеческих и творческих воплощений русского мира первой трети XX века.

Ещё в середине 80-х годов минувшего столетия Алла Марченко в статье “Обещает встречу впереди...” (“Новый мир”, 1985, № 9), ставшей впоследствии заключительной главой книги “Поэтический мир Есенина”, попыталась отлучить своего героя от русского мира. Она, объясняя причины успеха поэта в северной столице, прибегает к испытанному методу, пуская в ход обветшалые легенды: поэт попал в Петербург – славянофильский центр, охваченный русоманией и пользовавшийся “монаршим покровительством”. Такой контекст, видимо, должен дискредитировать творчество С. Есенина, и не его одного. “Блок, – утверждает А. Марченко, – только что переживший “Поле Куликово” и мучившийся поздней и трудной любовью к “нищей” России, принял Есенина как её полномочного посла...”. Но, во-первых, любовь А. Блока к России нельзя назвать поздней. Во-вторых, каким “аршином” измеряет жизнь и творчество поэта А. Марченко, говоря, что “Блок только что пережил “Поле Куликово”? Семь лет, отделяющие этот цикл от 1915-го года (года встречи С. Есенина и А. Блока), – срок большой во всех отношениях.

Итак, с точки зрения А. Марченко, неизвестный поэт явился к прославленному писателю как посол России, славянофильства, русомании, поддерживаемой монархом. Такое понимание вопроса объясняется отношением исследователя к главной теме творчества Блока и Есенина – теме Родины. О ней прямо и косвенно говорится явно без симпатии, например, как о “старом национализме”. В этом, конечно, А. Марченко не оригинальна. Подобные взгляды доминировали на протяжении многих лет, начиная ещё с 20-х годов. Правда, А. Марченко идёт дальше своих предшественников. Она свела человеческую и творческую судьбу Есенина к драме самолюбия. Непризнанность поэта новой властью, обиды на неё привели к следующему: Есенин “решил, что обиделся вместе с русским мужиком и за него тоже. Драматическое положение усугублялось тем, что при этом он не желал ни быть, ни слыть ходяком по рязанским делам”. Ларчик, оказывается, просто открывался, но эта та простота, которая хуже воровства.

Эгоцентризм Есенина А. Марченко доказывает цитатой из автобиографии поэта: “Крайне индивидуален”. Неудобно напоминать азбучные истины известной исследовательнице: крайняя индивидуальность присуща любому настоящему художнику, а между индивидуальностью и эгоцентризмом – пропасть, а не тождество, возникающее лишь тогда, когда индивидуальность – индивидуалист.

Книгой “Есенин: путь и беспутье” Марченко продолжает свою антиесенинскую линию. Наиболее показательна в этом отношении первая глава. Она из 22-х глав книги – самая последняя по времени написания, о чём свидетельствуют и факт её первой публикации (“Вопросы литературы”, 2011, № 5), и цитируемые в ней источники. Сия глава, значительно превосходящая по объёму все другие, является наиболее принципиальной. Поэтому уделим ей особое внимание.

С первых страниц книги Марченко создаёт мифы, рассчитанные на людей легковерных и далёких от литературы. Воссоздавая, например, атмосферу появления версии об убийстве Есенина, Марченко утверждает: “К середине 70-х годов Есенин перестал быть всего лишь Поэтом. С тяжёлой руки Станислава Куняева (“Добро должно быть с кулаками”) и стоящей за ним “русской партии” Есенина торжественно возвели в новый чин – персонифицированную национальную идею, в результате чего он и оказался в пантеоне неприкасаемых”. И как следствие: “Такой Есенин не имел права наложить на себя руки” (с. 13).

Однако в работах Станислава Куняева 70-х годов названные Марченко акценты (“персонифицированная национальная идея” и подобные) отсутствуют вообще. А версия исследовательницы о возведении в чин и о попадании в неприкасаемые, да ещё с подачи “русской партии”, порождена безудержной фантазией Аллы Максимовны. Отмечу лишь, что все есениноведы (неоднократно почему-то называемые Аллой Марченко “есениноведами”) того времени (Юрий Прокушев, Пётр Юшин, Евгений Наумов и т. д.) стремились сделать из Есенина советского поэта, и русское ими понималось в духе времени – с атеистических, партийных, космополитических позиций. Например, Юрий Прокушев, которого Марченко уважительно называет “главным специалистом по Есенину” (с. 27), так характеризует комиссара Рассветова из “Страны негодяев”: “патриот и верный сын России”, человек “со многими замечательными чертами характера коммуниста” (Прокушев Ю. Сергей Есенин. – М., 1973). Невыдуманный Рассветов, как остальные и большевики “первой волны”, “ленингогвардейцы” – специфичный патриот, советский патриот с ярко выраженной русофобией. Своё отношение к Родине он формулирует вполне определённо: “Вся Россия – пустое место. // Вся Россия – лишь ветер да снег”. Невольно вспоминается признание, адресованное России, другого “патриота”, русскоязычного поэта-руссофоба Владимира Маяковского: “Я не твой, снеговая уродина”.

Солидарна Марченко с есениноведами советского разлива и в категоричном признании факта самоубийства Есенина. Обсуждение версии убийства поэта является главным сюжетом первой главы. Конечно, Марченко не признаёт убийства Есенина и в качестве одного из аргументов в пользу официальной точки зрения приводит следующий: “Если бы в двадцатые годы хоть кто-нибудь усомнился в том, что Есенин повесился, а не “найден повешенным”, мне бы на это хотя бы намекнул Илья Ильич Шнейдер, коммерческий директор московской школы Айседоры Дункан” (с. 15).

Что за универсальный критерий – коммерческий директор школы Дункан? Вполне очевидно, что Шнейдер не мог знать всех усомнившихся. А если и знал таковых, то ему по разным причинам могла быть ближе или удобнее официальная версия. К тому же усомнившиеся всё-таки были. Это Николай Браун и Борис Лавренёв, вызванные в “Англетер” подтвердить факт самоубийства Есенина и отказавшиеся подписать протокол. А Всеволод Рождественский, сделавший это, объяснил свой поступок весьма своеобразно: “Мне сказали – нужна ещё одна подпись” (Браун Н. Я не инакомыслящий, я – мыслящий, это опаснее... // “Посев”, 2009, № 4). Отказалась признать самоубийство Есенина и мать поэта, которая, по свидетельству А. Берзинь, “отпевала его заочно”.

Отсутствуют в размышлениях Марченко и ссылки на показания секретаря есенинской похоронной комиссии Павла Лукницкого. Алла Максимовна, многократно цитирующая книгу П. Лукницкого “Встречи с Анной Ахматовой” как авторитетный источник, “не замечает” следующий фрагмент её: “Есенин мало был похож на себя. Лицо его при вскрытии исправили, как могли, но всё

же на лбу было большое красное пятно, в верхнем углу правого глаза – желвак, на переносице – ссадина и левый глаз – плоский: он вытек”. Обходит стороной Марченко и показания санитаря К. Дубровского, рисунки В. Сварога и другие свидетельства, подтверждающее версию об убийстве Есенина.

В трактовке смерти поэта Алла Максимовна последовательна, её позиция не изменилась с течением времени. В конце книги “Поэтический мир Есенина” в числе причин самоубийства поэта Марченко называет обиду, болезнь, галлюцинации, манию преследования, неприютность, невезение. “Словом, – заключает Марченко, – образовался такой тугой узел, что распутать его казалось невозможным, легче было оборвать”. И далее, явно не с христианских позиций, с большой дозой оригинальничания, за которой – душевная глухота и неправда, тотальное непонимание ситуации и судьбы Есенина, Марченко подводит итог: “Человек, у которого в жизни не осталось ничего, кроме стихов, мог принести им (друзьям и близким. – Ю. П.) и эту, последнюю, жертву. Смертью выиграть победу, как выиграл проигранный Амундсену Южный полюс капитан Скотт”.

В рецензируемой книге называются новые причины смерти: психическое расстройство – меланхолия (с. 42), преследовавшее чувство смерти, которое могло и не реализоваться, если бы не безденежье, простуда Тихонова, иное поведение Эрлиха (с. 573). Появляется и новая версия смерти – несчастный случай (с. 40–41). Эту версию, по мнению Марченко, “начисто исключить” невозможно.

Я готов опровергнуть эти и многие другие утверждения, оценки, версии Аллы Максимовны. Всего таких “пунктов” для полемики я насчитал в книге более ста пятидесяти. Но, понятно, такого длинного спора никакой читатель не выдержит, не говоря уже об определённом журналом объёме публикации. Поэтому отмечу лишь некоторые, типичные особенностями данной книги, вызывающие возражения.

На большинстве суждений автора “Есенин: путь и беспутье” лежит отпечаток его идеологических пристрастий. Либеральная партийность довлеет над исследовательской объективностью и элементарной человеческой порядочностью. Вот, например, Марченко выговаривает редакции “Посева”, “редакции солидного либерального журнала” (с. 26), за публикацию интервью с Н. Н. Брауном. Он, поэт и бывший политзаключённый, приводит свидетельство своего отца, выносившего мёртвого Есенина из “Англетера”. Факты, сообщённые Н. Л. Брауном, и его оценки подтверждают версию об убийстве поэта.

Конечно, Марченко привыкла к тому, что все либеральные авторы и все либеральные журналы признают официальную советскую версию самоубийства Есенина. Одни лишь сомнения в справедливости данной версии, по мнению другого либерального критика, Валерия Шубинского (“Новое литературное обозрение”, 2008, № 1), есть уже свидетельство неадекватности сомневающегося. Вот и Алла Марченко, пытаясь дезавуировать интервью Брауна, находит у него возрастную неадекватность, о которой сообщает так: “престарелый сын Н. Л. Брауна” (с. 26). Уточним, что Николаю Брауну в момент интервью был 71 год, и нет никаких причин сомневаться в его памяти и адекватности. Сама Марченко многократно приводит свидетельства людей ещё более почтенного возраста, нигде не называя их престарелыми и не ставя под сомнение эти свидетельства. Да и самой Алле Максимовне, много раз предающейся воспоминаниям в книге о Есенине, в этом году исполняется 80 лет.

Не менее характерен сюжет первой главы – рассуждения Аллы Максимовны о схожести обстоятельств, спровоцировавших трагедии Владимира Маяковского и Сергея Есенина (с. 42–43). Вполне предсказуемо, что в числе причин, обусловивших самоубийство Маяковского, не называется главная – “роман” с Вероникой Полонской. Не называется потому, что Алла Максимовна смотрит на трагедию поэта глазами “заинтересованных лиц” – Лили Брик и семейства Катанянов. Давно пора нашим либеральным авторам от трансляции чуть подурмяненных мифов 30–70-х годов минувшего столетия обратиться к реальной истории взаимоотношений Владимира Маяковского с его возлюбленными. И на фоне Элли Джонс, Татьяны Яковлевой, Вероники Полонской Лили Брик займёт подобающее ей место блудницы (Об этом см. мою статью “Случай эстетствующего интеллигента” // “Наш современник”. – 2008. – № 5).

Приведённые примеры показательны: использование грязных приёмов, сознательная ложь – это неотъемлемые составляющие творческого “я” авто-

ра рецензируемой книги. К тому же, выражения Алла Максимовна любит крепкие. Вот как характеризуются противники официальной версии смерти Есенина: “особенно дремучим и мрачным выглядят участок, приватизированный патриотами” (с. 12), “стайки шарлатанов да толпы невежд, к умственным усилиям не приученных” (с. 26), “материал с самыми дремучими вымыслами” (с. 26), “беспрецедентное по безграмотности сочинение” (с. 26), “неизлечимый дилетантизм, а то и прямое мракобесие” (с. 27), “неистовые мстители” (с. 31) и т. д.

Приведу несколько аргументов Марченко из её полемики с “невеждами”, сторонниками версии убийства Есенина. Алла Максимовна ставит себе в заслугу то, что она находит объяснение общепризнанному факту: в списках зарегистрированных постояльцев в “Англетере” Есенина не было. Как утверждает Марченко, Есенин дал управляющему В. М. Назарову “денежку” (с. 32). Эта гипотеза ничем не подтверждается, кроме воспоминаний Ольги Ваксель, которая сообщает, что её якобы в 1924 году принимал в “Англетере” Осип Мандельштам. А он, как и Есенин, в списках постояльцев не значился (с. 31). Гипотеза Марченко, как видим, не находит фактологического подтверждения. А её “логика” в очередной раз удивляет отсутствием таковой. К тому же, Алла Максимовна на странице двадцать третьей утверждает, что Есенин уехал из Москвы без денег. Ответ на вопрос, откуда поэт взял деньги на взятку, в книге отсутствует, да и сам этот вопрос у Марченко не возникает.

Ещё один аргумент автора “Есенина” звучит так: “Они же (Власть) запросто могли Есенина арестовать, скажем, по делу его давнего, ещё с дореволюционных лет приятеля, “крестьянского поэта” Алексея Ганина, связавшегося по дурости с “русскими фашистами”, да и прикончить на законных основаниях в подвалах Лубянки?” (с. 19). Таким образом, мало того, что Алла Максимовна признаёт факт существования “ордена русских фашистов” — её солидарность с ЧК симптоматична и умилительна. Более чем странным выглядит и марченковский “диагноз” — “связался по дурости”. Не знаю, что называет дуростью Марченко, но знаю другое: тезисы Ганина “Мир и свободный труд — народам”, написанные в 1924 году, стали для Агранова и чекистской компании одним из главных обвинительных пунктов по делу “ордена русских фашистов”. Приведу цитату из тезисов Ганина, а выводы о глупости русских фашистов и сентенциях Марченко пусть делает сам читатель: “. . . В лице ныне господствующей в России РКП мы имеем не столько политическую партию, сколько воинствующую секту изуверов-человеконенавистников, напоминающую если не по форме своих ритуалов, то по сути своей этики и губительной деятельности средневековые секты сатанистов и дьяволопоклонников. За всеми словами о коммунизме, о свободе, о равенстве и братстве народов таится смерть и разрушения, разрушения и смерть. Достаточно вспомнить те события, от которых всё ещё не высохла кровь многострадающего русского народа, когда по приказу этих сектантов-комиссаров оголтелые, вооружённые с ног до головы, воодушевляемые еврейскими выродками банды латышей беспощадно терроризировали беззащитное сельское население, всех, кто здоров, угоняли на братоубийственную бойню, когда при малейшем намёке на отказ всякий убивался на месте, а у осиротевшей семьи отбиралось положительно всё < . . . > когда за отказ от погромничества поместий и городов выжигались целые сёла, вырезались целые семьи” (“Наш современник”, 1992, № 1).

В последние лет пятнадцать явно набирает силу тенденция сделать из Льва Троцкого заботливого друга Есенина, к которому поэт относился с нежностью и восхищением. Вот и Алла Марченко в разделе о Троцком “Мне нравится гений этого человека. . .” прилагает большие усилия, чтобы представить Льва Давидовича как умнейшего и достойнейшего политика, с редким пониманием относящегося к Есенину, человеку и поэту. Здесь, как и в случае с Колчаком (глава четырнадцатая), автор особенно подчёркивает свою роль первооткрывателя. В первую очередь через полемику “со своим” Олегом Лекмановым и “чужими” Станиславом и Сергеем Куняевыми.

Лекманов характеризуется Марченко как “серьёзный исследователь” (с. 17), как “автор подробно документированной биографии Есенина” (с. 45). Как видим, рецензия Наталья Шубниковой-Гусевой “И это — биография?” (“Литературная газета”, 2009, № 5), в которой убедительно выявляются многочисленные серьёзные просчёты книги О. Лекманова и М. Свердлова “Сергей Есенин. Биография”, на мнение Марченко не повлияла. И понятно, почему. . .

Фактологическая же неточность, допущенная Лекмановым в приводимом Марченко случае, оценивается не как “промах памяти, а вещей знак, свидетельствующий: даже люди редкой книги, а не только люди полужёлтых СМИ, весьма приблизительно представляют себе и конкретику политического бытия двадцатых годов, и характер отношений между действующими лицами происходящей драмы” (с. 46).

Полемика же с Куняевыми примечательна, прежде всего, тем, что даёт наглядное представление о творческой лаборатории Аллы Марченко. По её мнению, Куняевы “как бы и не приклеивают” (с. 46) Троцкого к смерти Есенина по следующей причине: “Чтобы сообразить (и заявить) компромат на его (Троцкого. – Ю. П.) “Слово о Есенине” <...>, пришлось бы объявить во всеуслышание, что Есенин “солгал сердцем”, написав (в 1924 году) “Русь бесприютную” (с. 46). И далее приводимую большую цитату из “Руси бесприютной” Марченко обрывает словами: “В них даже Троцкий” (с. 47).

Во-первых, заданность цитирования очевидна, ибо у Есенина после слова “Троцкий” стоит запятая (а не точка, как у Марченко), а затем следуют слова “Ленин и Бухарин”. Во-вторых, в таком есенинском варианте Троцкий никак автором не выделен, он назван в ряду других советских руководителей. В-третьих, почему очевидная констатация – в “бесприютных” мальчишках живут Пушкин, Лермонтов, Кольцов, Некрасов, Есенин, Троцкий, Ленин, Бухарин – даёт основание утверждать, что поэт “солгал сердцем”? В-четвёртых, как приведённая строчка из “Руси бесприютной” может компрометировать “Слово о Есенине” Троцкого и наоборот?

И дальнейшая полемика Марченко с Куняевыми оставляет всё то же впечатление редкой бездоказательности, абсурда. Алле Максимова кажется почему-то странным, что Куняевы не оспорили статью Сергея Кошечкина “Смерть Есенина: две версии”, нам же странным видится изначальный посыл Марченко. Если бы Куняевы откликнулись на каждый “чих”, на любую публикацию о Есенине, с которой они не согласны, то тогда бы им всю жизнь пришлось заниматься только этим. К тому же, Кошечкин, представитель традиционного советского есениноведения, в своей статье ничего принципиально нового не говорит.

“Молчание” Куняевых получает у Марченко пикантную интерпретацию. Станислав и Сергей Куняевы могли бы оспорить одно из утверждений Кошечкина, ссылаясь на приводимый Марченко эпизод из воспоминаний Романа Гуля. Но он – “мемуарист неудобный”, “ибо наводит подозрительного читателя (другим эпизодом, где Есенин исполняет частушки о Ленине. – Ю. П.) на мысль о сервилизме Есенина. Дескать, и просоветские “Стансы”, и “Русь бесприютная”, и очень правильный Ленин в “Капитане земли” – не что иное, как “циничный карьерный маскарад” (с. 48).

Тот, кто не читал книгу Станислава и Сергея Куняевых о Есенине, может подумать, что для исследователей эпизод из воспоминаний Романа Гуля о его встрече с поэтом летом 1923 года в Берлине – это козырный туз, которым они не могут воспользоваться в силу “неудобности” мемуариста. Однако именно эти авторы одними из первых ввели данный эпизод (с выпадом Есенина против Лейбы Бронштейна) в читательский обиход. А в их книге “Жизнь Есенина” (М., 2001), в главе “Молю Бога не умереть душой...”, этот отрывок из мемуаров Романа Гуля цитируется, в отличие от Аллы Марченко, в полном объёме. К тому же воспоминания якобы неудобного Гуля называются Куняевыми “чрезвычайно важными”. И ещё: в этой же главе авторы приводят большую отрывок из мемуаров Лолы Кинел о том, как Есенин разыграл женщину в 1922 году, сообщив ей, что Ленин – год как умер... А через двадцать страниц в книге Куняевых полностью цитируется сегодня широко известное письмо Есенина Куусикову об отношении поэта к Октябрю и Февралю...

На фоне “весьма рискованной” (Ст. и С. Куняевы) шутки о Ленине и самого крамольного письма поэта эпизод с исполнением частушки (на нём, собственно, строит свою концепцию Марченко) видится почти безобидным. Проецировать же чужой текст частушки на произведения Есенина и делать выводы о сервилизме поэта – это, конечно, вне логики и вне филологии. Либеральные ЧК и ЦК должны учиться у Марченко тому, как стряпать “дела”. И, наконец, видеть в “Стансах”, “Капитане земли”, “Руси бесприютной” “циничный карьерный маскарад” можно только в таком состоянии, когда “в лоб ударила моча” (слова из частушки о Ленине). Во-первых, выражение “карь-

ерный маскарад” предполагает, что карьера состоялась, а это к Есенину никакого отношения не имеет. Во-вторых, названные произведения поэта есть отражение сиюминутных представлений автора о людях и времени, это искренняя попытка Есенина на уровне разума примириться с властью большевиков, попытка стать советским поэтом.

Ещё одна причина “ухода” Куняевых от полемики с Кошечкиным видится Марченко в том, что ссориться с “Правдой”, где статья есениноведа была опубликована, “в 1995-м ещё и опасно, и невыгодно” (с. 47). Данное утверждение, не аргументированное ничем, вызывает, по меньшей мере, недоумение. На основании чего Марченко решила, что точка зрения Кошечкина отражает позицию “Правды”? И существовала ли такая позиция вообще? Напомню, что в этот период газета стала во многих отношениях другой, чем была, скажем, в 60–80-е годы. В ней, например, публиковал свои статьи пламенный антикоммунист Владимир Максимов... То есть создаётся впечатление, что Алла Максимовна судит о “Правде” первой половины 90-х годов советскими мерками. К тому же нелепо и смешно смотрятся тезис о боязни Станислава Куняева “Правды” в 1995 году. Куняев не боялся “Правды” и ЦК КПСС в 70–80-е годы XX века, не боялся и не боится власти и её обслуживающих СМИ в постсоветский период, а “Правды”, малотиражной оппозиционной газеты в середине 90-х годов, вдруг испугался... Да и вообще, полемика – всё равно с кем и в какое время – с позиции “выгоды-невыгоды” – это не о Станиславе Куняеве.

Сюжет с Троцким мог и должен был получить продолжение в главе шестнадцатой “Возвращение на Родину”, события в которой датируются так: август 1923 – март 1924. В этот период помимо встречи со Львом Давидовичем, о чём “вокруг да около” рассказывает Марченко в первой главе, было более судьбоносное событие в жизни Есенина – “дело четырёх поэтов”. В связи с этим “делом” имя Троцкого возникало неоднократно в разных контекстах. Однако Алла Максимовна, с явной симпатией относящаяся ко Льву Давидовичу, с неподдельным интересом пишущая о самых разных мелочах и не мелочах, не имеющих к биографии Есенина никакого отношения, уходит от разговора о существе “дела четырёх”. Она применяет приём, за который в литературной критике выносят вердикт о крайней предвзятости и элементарном непрофессионализме.

Итак, по версии Аллы Максимовны, Есенин после заграничной поездки в пьяном состоянии стал вести себя неадекватно, превращаясь в “другого, чужого человека”. Он “и говорил, и делал то, чего у трезвого Есенина не только на языке, но и в уме, в сердце не было!” (с. 473). Как свидетельствует Галина Бениславская, на которую ссылается Марченко, в таком состоянии поэт становился своеобразным эхом своих “собутельников”: Алексея Ганина, Сергея Клычкова, Петра Орешина и других.

Именно с этих позиций в рецензируемой книге оценивается “дело четырёх” как “некрасивый скандал”, учинённый “в какой-то пивной” (с. 473), и противопоставляется ему “реальная, нешуточная угроза”, исходящая от редактора газеты “Беднота”. Он, как сообщает Алла Максимовна, проживающий в одной квартире с Бениславской, поставил её перед выбором: или выписать из квартиры Есенина, или самой лишиться работы в “Бедноте”.

Пожалуй, впервые в современном есениноведении предлагают нам относиться к “делу четырёх” как к шуточному, как к нереальной угрозе. Все резкие оценки, возникающие в этой связи, опуцу. О “деле” же, в отличие от Марченко, не промолчу.

Как известно, в “деле” поэтов Есенина, Ганина, Клычкова, Орешина обвинение в антисемитизме было главным. По данной статье наказание предполагалось не “шуточное” – вплоть до расстрела. Обсуждалась история “четырёх писателей” широко, живо, на самых разных уровнях. Только одна газета “Правда” дважды откликнулась на сие событие.

Встреча Есенина с Троцким своеобразно реконструируется Марченко в первой главе. Сама Алла Максимовна в этой связи признаётся: “...Ничего достоверного о беседе поэта с почти первым лицом страны Советов нам неизвестно” (с. 60). “Дело четырёх” даёт реальные возможности для постижения логики дальнейшей судьбы Есенина. В сюжете “дела”, от которого отмахивается Алла Максимовна, есть и интересные показания, суждения разных сторон, и реакция на “историю” в печати, и письмо Есенина Троцкому. Оно, впервые опубликованное Натальей Шубниковой-Гусевой в “Литературной газете” (2008, № 3–4),

вошло в её книгу “Сергей Есенин и Галина Бениславская” (СПб., 2008), неоднократно цитируемую Марченко. Однако о письме Есенина Троцкому, вызванном травлей поэтов в печати, Алла Максимовна даже не упоминает.

Ещё один документ, имеющий прямое отношение к вопросу “Есенин–Троцкий”, найден недавно в Российском государственном архиве и опубликован Валерием Артёменко в той же “Литературной газете” (2010, № 11). Это письмо “В Президиум ВЦИК. Копия т. Троцкому” написано Михаилом Семёновичем Грандовым 20 ноября 1923 года. Именно он фигурирует в рецензируемой книге как безымянный редактор “Бедноты”, от которого якобы исходила реальная угроза Есенину.

Вообще-то Грандов был не редактором, а заместителем ответственного редактора “Бедноты”. Но главное в другом: именно он сообщает в своём письме о бедственном положении бездомного Есенина, что, по словам заботливого Грандова, “подготавливает обильную почву для тяжёлой жизненной драмы этого талантливого человека”. Заключительную часть письма процитирую полностью: “Меж тем при современном жилищном законодательстве и жилищном голоде он бессилён разрешить для себя квартирный вопрос без содействия государственных органов. Об этом содействии я и прошу Президиум ВЦИК. Конкретно дело сводится к тому, чтобы предписать соответствующему учреждению предоставить С. Есенину и его семье (живущей на его иждивении <сестры поэта>) квартиру из трёх комнат с кухней”.

Главной причиной, не позволившей положительно решить квартирный вопрос Есенина, Валерий Артёменко называет “ограничения властных полномочий Троцкого в результате его поражения во внутривластной дискуссии”. Публикатор письма находится в плену тех же мифов о Троцком, что и Алла Марченко. Об отношении Льва Давидовича к Есенину точнее судить по делам его, а не по “словам”: поведению во время августовской встречи, по смертной статье, мемуарам... Именно на этом и не только на этом делает ударение Марченко в своей книге. Дела же Троцкого расходятся с его “словами”.

Нежелание Льва Давидовича помочь Есенину объясняется одним: он не принимал русскости творчества поэта, той русскости, которая Советской властью в 1920-е годы выкорчёвывалась целенаправленно и беспощадно в жизни и литературе. К тому же Есенин был одним из немногих писателей в СССР, кто ещё в первой половине двадцатых годов показал в своём творчестве антирусскую, античеловеческую сущность новой власти. Не мог Троцкий не обратить внимание и на историю с “делом четырёх” по разным причинам – от личной (его имя звучало не раз) до политической (речь шла о сущности Советской власти).

О “деле четырёх” сказано подробно и объективно во многих работах. Я же обращаю внимание лишь на особенность этого “дела”, имеющую прямое отношение к смерти Есенина и к книге Аллы Марченко. Думаю, суд над Есениным, Ганиным, Клычковым, Орешиним стал своеобразным сюжетным продолжением “Страны негодяев” и прологом к гибели всех фигурантов “дела”, гибели, подчеркну, предсказуемой.

Насильственная смерть Ганина, Есенина, Клычкова, Орешина угадывается в той интерпретации “истории в пивной”, которая давалась стороной обвинения в широком смысле. Назову хулителей Есенина: инициатор-провокатор М. Родкин, милиционер И. Абрамович, беспринципный куплетист Демьян Бедный, влиятельнейшие партийные журналисты, редакторы Л. Сосновский, Б. Волин, М. Кольцов.

Чтобы не быть голословным, проиллюстрирую влиятельность Льва Сосновского, неистового ниспровергателя Есенина, следующими фактами его биографии: член РСДРП(б) с 1903 года, один из лидеров журнала “На посту”, ответственный редактор “Бедноты”, член президиума ВЦИК, постоянный автор “Правды”, который и после смерти Есенина опубликовал на её страницах статью “Развенчайте хулиганство” (1926, № 216).

Я акцентирую внимание на этом ещё и потому, что все либеральные авторы, Алла Марченко в том числе, утверждают: Есенина как идейного противника никто всерьёз не воспринимал, ему симпатизировало партийное руководство, поэт был просоветски настроен, он – человек слабый, сломленный, больной...

Итак, названные обличители “четырёх поэтов” “историю в пивной” и за её пределами оценивали как выступление против “засилья жидов” в литературе, против советской – “жидовской” – власти и её представителей Троцкого и Ка-

менева. Срежиссированная кампания против Есенина и его друзей была первой публичной попыткой сфабриковать политическое “дело” против русских писателей. Первая попытка не удалась, но сценарий для будущих “дел” был написан. Особенно показательна в этом отношении публикация Михаила Кольцова.

30 декабря 1923 года – через семнадцать дней после решения суда, после снятия с поэтов обвинения в антисемитизме – вдруг (конечно, не вдруг!) на страницах главной газеты страны “Правда” появляется статья “Не надо богемы” одного из самых идеологически чутких журналистов. В этой публикации Есенин, Клычков, Орешин, Ганин ставятся в один ряд с дореволюционными славянофилами из “Славянского базара” с репутацией антисемитов и даже с немецкими фашистами. Итог же кольцовского “шедевра” есть смысл процитировать: “В мюнхенской пивной провозглашено фашистское правительство Кара и Людендорфа, в московской пивной основано национальное литературное объединение “Россияне”. Давайте будем грубы и нечутки, заявим, что всё это одно и то же...” (цит. по: Есенин С. А. Полн. собр. соч. В 7-ми тт. Т. 7. Кн. 2. Дополнения к 1–7-му томам. Комментарии. – М., 2000).

Неудивительно, что через год с небольшим после публикации статьи Кольцова по делу “Ордена русских фашистов” был расстрелян Алексей Ганин. Закономерно и то, что в 1934 году на I съезде писателей СССР в разряд фашистов, “изменников человечества” попал уже Фёдор Михайлович Достоевский. Виктор Шкловский (его по другому поводу Марченко почтительно называет “человеком не робкого десятка”) вынес сей приговор писателю, руководствуясь всё той же логикой Михаила Кольцова.

Но не стоит заикливаться на персоналиях (М. Кольцов, Л. Сосновский и т. д.) или сводить проблему к еврейскому происхождению хулителей Есенина. То, что озвучивали Кольцов и компания, не просто висело в воздухе, а было кислородом той эпохи. Сосновские, бухарины, кольцовы выражали линию партии в русском вопросе. И смерть Есенина нужно рассматривать именно в этой национально-политической плоскости. Тогда станет очевидным, что конфликт Есенина с Троцким и Советской властью вообще неизбежен и, более того, неразрешим, ибо это был конфликт русского человека, поэта с антирусской властью. С Есениным произошло то, что рано или поздно должно было произойти.

В ещё одной “оригинальной” четырнадцатой главе “А если это Колчак?” речь формально идёт о поэме Есенина “Пугачёв”. Это произведение уже рассматривалось Марченко ранее в упоминавшейся книге “Поэтический мир Есенина”, в главе “Душа моя устала и смущена от самого себя и происходящего”. “Пугачёв” анализируется Аллой Максимовной, как тогда говорили, с верных методологических – партийных – позиций и на высоком научном уровне. Видимо, поэтому так разительно отличается “Пугачёв” в интерпретации Марченко от “Пугачёва” Есенина. Особенно впечатляют предложения, подобные следующему: “Струение корабельных образов – не единственный формообразующий элемент, использованный Есениным в “Пугачёве”.

В постсоветское время Алла Максимовна настолько прозрела, что переплюнула всех, кто анализирует есенинскую поэму сквозь призму событий XX века. Ещё в 60-е годы минувшего столетия Пётр Юшин выдвинул следующую версию прочтения “Пугачёва”: “Взяв в качестве сюжета пьесы исторический факт, Есенин перенёс его в послереволюционные условия, заполнил монологи героев характерными для первых советских лет авторскими переживаниями, ассоциациями и оценками” (Юшин П. Сергей Есенин. – М., 1969). В последние два десятилетия некоторые авторы привязали есенинского “Пугачёва” к конкретным событиям и историческим персонам: Махно и крестьянское движение на Украине (В. Мусатов и большая часть исследователей), Антонов и Тамбовское восстание (Ст. и С. Куняевы).

Самую оригинально-фантастическую версию высказала в 2006-ом году Алла Марченко в статье “А если это Колчак?” (“Вопросы литературы”, 2006, № 6). Эта статья через шесть лет стала четырнадцатой главой рецензируемой книги. В ней Алла Максимовна утверждает: адмирал Колчак – “второй Пугач”, его личность и деятельность на посту Верховного Правителя России нашли зашифрованные отклики в поэме Есенина. Приведу показательный довод Марченко: “Есенинский Пугачёв, предлагая сподвижникам план спасительного отступления, упоминает Монголию, что, согласитесь, выглядит довольно стран-

но. (Где Монголия, а где заволжские степи и Яицкий городок?) Зато в рассуждении Колчака ничуть не странно” (с. 435). Однако нигде в поэме Монголия как вариант убежища не называется. В последней главе Пугачёв и его сподвижники говорят о бегстве в Азию через Гурьев и Каспий. То есть обсуждается идея, которую действительно высказывал реальный Пугачёв, стремившийся в Персию или на Кубань.

Монгольские же орды, упоминаемые в монологе самозванца, – это условное название всех кочевых азиатских народов в поэме, включая башкир, татар, калмыков, воевавших на стороне Пугачёва. Доказательством тому являются слова самозванца в четвёртой главе, речь Зарубина в шестой главе и следующий ответ Крямина Пугачёву:

*Знаем мы, знаем твой монгольский народ,
Нам ли храбрость его неизвестна?
Кто же первый, кто первый, как не этот сброд,
Под Самарой ударился в бегство?*

В аннотации к книге Марченко нас уверяют, что её автор “строит свою убедительную реконструкцию” трагического пути Есенина. Выражение “строит <...> реконструкцию”, мягко говоря, смущает, а оценка книги вызывает возражения, ибо никакой убедительности в ней нет уже потому, что Марченко за пределами вольно обращается с историческими фактами, событиями, людьми. Они для автора лишь материал для иллюстрации идей, нередко экстравагантных. И глава о Пугачёве–Колчаке в этом отношении показательна.

В ней Алла Максимовна демонстрирует свои знания истории, демонстрирует довольно часто без необходимости и очень навязчиво. Например, она, желая подчеркнуть единственность судьбы Колчака, сообщает: “Все остальные фигуранты “белого сопротивления” “красному террору” либо убиты при попытке к бегству (Антонов), либо самовольно пустили себе пулю в лоб (Каледин), либо благополучно ретировались за границу (Деникин, Юденич, Врангель, Краснов). В истории устранения Махно момент торга, конечно, наличествовал, но расплатились с батькой не червонцами” (с. 423).

Во-первых, невозможно понять, почему фигурантами “белого сопротивления” у Марченко являются Махно и Антонов, не имеющие к нему никакого отношения. Во-вторых, где в списке Аллы Максимовны Лавр Корнилов и Михаил Алексеев – те, с кого, собственно, “белое сопротивление” начиналось?

Правда, имя Корнилова возникает в книге Марченко в другом контексте (с. 425–426). Здесь, думаю, Алле Максимовне следовало бы отметить явную фактическую ошибку, допущенную Есениным в “Песне о великом походе”, а не повторять её вслед за ним. То есть не мог Колчак посылать отряды на помощь Корнилову, ибо Лавр Георгиевич погиб 17 апреля 1918 года, а Колчак в первой половине этого года был “ником”, искал применения своим силам, передвигаясь по маршруту Япония–Сингапур–Китай.

Алле Марченко, с увлечением пересказывающей биографию Колчака в объёме, значительно превышающем разговор о поэме “Пугачёв”, всё-таки следовало бы знать элементарные факты из биографии адмирала. Например, Верховным Правителем России Колчак стал не в январе 1919 года, как убеждают нас на странице 425-й, а в ноябре 1918 года. Адмирал в своём обращении “К населению России” писал: “18 ноября 1918 года Всероссийское Временное правительство распалось.

Совет Министров принял всю полноту власти и передал её мне – Адмиралу Русского Флота, Александру Колчаку”.

Марченко, транслируя мифы о Колчаке, не видит главного, того, что, собственно, и делает адмирала личностью трагической. Он, выступивший “против чудища насилия”, во многом стал сродни этому “чудищу”. Общеизвестно: против собственного народа воевали не только “красные”, но и “белые”, Колчак в том числе. О перерождении “белых” в “красных”, о тождестве противоборствующих сторон в отношении к мирным жителям писали такие “добровольцы”, как Василий Шульгин, Антон Деникин, Роман Гуль. У Марченко, конечно, ни о чём подобном речи не идёт. Не говорится и о карательных акциях колчаковцев против гражданского населения, и о массовом сопротивлении сибиряков Верховному Правителю России, и о многом другом, мешающем восприятию адмирала как “единственной трагической (и романтической) фигуры в истории Белого движения” (с. 428).

Не менее “политических” глав удивляют главы “любовные”. Если в главах “политических” всё и вся подгоняется под либеральные взгляды Марченко и её фантазию, то в “любовных” главах Алла Максимовна своеобразно обнажает кажущуюся ей сущность героев книги. Сущность, чаще всего, неприглядную, низменную, животную. Именно повествование об этой сущности является ключевым в главах с семнадцатой по двадцатую.

Вполне очевидно, что особый интерес у Марченко вызывают те свидетельства современников, в которых выливается “грязь” на женщин С. Есенина и на него самого. Уточню, под “грязью” я понимаю предвзятые, несправедливые оценки и характеристики, не дающие или дающие очень искажённое представление о человеке. Например, не было никакой необходимости приводить такое высказывание Анатолия Мариенгофа о Зинаиде Райх: “Я обычно говорил о ней: “Эта дебёлая еврейская дама”. Щедрая природа одарила её чувственными губами на лице круглом, как тарелка. Одарила задом величиной с громадный ресторанный поднос при подаче на компанию. Кривоватые ноги её ходили по земле, а потом по сцене, как по палубе корабля, плывущего в качку” (с. 486).

И всё же среди цитатной “грязи”, в изобилии собранной Марченко, особую роль в книге играет “грязь” сексуальная. Вот в главе девятнадцатой “Молодая, с чувственным оскалом...” цитируется большой отрывок из дневника Корнея Чуковского, где характеризуется Софья Андреевна Толстая. Приведу только некоторые слова и фразы (по причине гигиенической в том числе) из этого, по словам Марченко, “чрезвычайно интересного” якобы психологического портрета: “сладострастна, честолюбива, вздорна, ветрена”; “тело всё в волосах, от чего её прозвали “Сонька – меховая нога”; “Тогда она пустилась в разврат – сошлась с каким-то, как говорят, жидом”; “А ей всего 23 года – и все вокруг благоговейно пред её чистотой” (с. 512).

Весьма характерно то, какой отклик вызывает у Марченко цитата из Чуковского. Если это не автопортрет Аллы Максимовны как создателя книги, то довольно впечатляющие штрихи к нему. Судите сами: “Сонька – меховая нога” была штучкой совсем иного сорта. Чтобы раскусить столь крепкий орешек, надо было обладать не есенинским здоровым смыслом, а феноменальной (не человек, а томограф) сверхзречестью Чуковского. В одном ошибался проницательный Корней Иванович: Софья Андреевна была, может быть, и не совсем глупа, но недостаток ума усугублялся поразительной чёрствостью, я бы даже сказала, душевной бездарностью” (с. 513).

Далее Толстая характеризуется как “беспутная скромница”, “искательница острых ощущений” (с. 516), “испорченная и развратная” (с. 518). Её же интерес к Есенину объясняется с позиции “ниже пояса” – универсальной для Марченко позиции. Оказывается, Толстую интересовал ответ на вопрос: что Дункан, “заморская секс-бомба”, “великая блудница”, нашла в Есенине? Великий поэт был для Софьи Андреевны “прежде всего “сексуальным феноменом” (так странницей ранее Марченко характеризует отношение Толстой к Григорию Распутину).

Нет смысла комментировать эту нелепую “сексуальную” версию и многие другие, ей подобные. Выразу лишь своё удивление, вызванное таким живым, сладострастным, болезненным интересом женщины к сексуальности в столь почтенном возрасте.

Фёдор Михайлович Достоевский, обращаясь к Николаю Ивановичу Костомарову, сказал: “Чтобы быть русским историком, нужно быть, прежде всего, русским. Вы... не русского духа...” (цит. по: Селезнёв Ю. В мире Достоевского. – М., 1981). Перефразируя классика, можно утверждать: чтобы написать полноценную работу о Есенине, нужно быть русским по духу. По сути, о том же говорит Юрий Мамлеев. Он, рассматривая тему России в лирике М. Лермонтова, А. Блока, С. Есенина, верно замечает: “Чтобы понять это, надо иметь такой ток” (“Советская литература”. – 1990. – № 1).

Русский “ток”, дух в Алле Марченко отсутствует. Поэтому и её новая книга – это повествование не о Сергее Есенине, а о человеке и поэте, внешне похожем на русского гения. И не более того. Зато автопортрет Аллы Максимовны получился выразительный, законченный, запоминающийся. И, конечно, жаль тех читателей, которые примут многочисленные авторские “выпукления” (С. Есенин) за правду о поэте, о его современниках и времени. Новая книга Марченко есть очередное свидетельство того, что путь либеральных исследователей русской литературы – это путь в беспутье, путь в никуда.

Наш современник

1995 №9

Талызин М. Неповторимый:

воспоминания о поэте

Если Валерий Брюсов сменил «Urbi et orbi», символизм и любовь эллинскую — на академизм двадцатого числа и на учебную магию поэзо-мастерской, то что же оставалось другим. «Цех поэтов», «Звено», «Литературный особняк», «Леф», «Никитские субботники», «Кузница», «Горн», «Союз» — везде, как у рыбных лабазов, зазывали на свой лад, глумились и доносили на противников. Нигде не было спайки, жертвенной дружбы, уважения к таланту, бессребренной службы Прекрасному. Одни тысячи неудачников хныкали у издательских шлагбаумов, а другие тысячи мечтали о водительстве литературного легиона, о денежной удаче.



Сколько пачкотни, скуки, сколько фарисейства и корысти!

В отличие от прежней российской литературной и художественной богемы современная была внешне многообразнее, не в шутку отдавала запахом машинного масла и соломенных скирд, но она же приютила разноплеменных ловкачей и «космополитов»-недоучек. Национальные черты не скрылись, но смазались и выцвели. Быть интеллигентом опасно, славянином не модно, талантливым не выгодно. Прежняя братия не знала, откуда происходят ремесла и средства, теперешняя — все хорошо знала и умела. Очень скудно, экономно и унижительно, то совместительством, то ссудой — но перебивались, от «Босого переулка до площади Мирового согласия». Упаковывались «по разверстке» несчетные повести и романы и засоряли полки, определялся идеологический шаблон: «не подмажешь — не поедешь», «не соврешь, так пропадешь».

Художникам жилось еще труднее, чем поэтам. Лозунги, плакаты и крышки на коробках Моссельпрома сузили размеры холстов. Для замыслов индустриальной мощи и для «новой» деревни на палитре не хватало красок. «Штаб-маляр» Маяковский и тот черпал благополучие от мазни плакатов. Другие изловчались круглый год воспевать пролетарские празднества, иные сочиняли побасенки для клубов или языком акушеров писали детские сказки.

Студент из художественной Академии, рисуя книжную обложку в обмен за обед, спрашивал:

— Написал маслом бабу голую, хорошую — костромскую. Завод с трубой сбоку. На мосту — рыболовы ухмыляются. Посоветуйте название. Губпродком без идейного названия не примет.

«Совы верно летают ночью» — озорство возводилось в принцип, в презрение к старости, к чистоплотности, к чести и к женщине.

В комнатах с площадью в скатерть жили двое-трое. Все вышки Тверской, Грузин, Плющихи и Яузы перешли из когда-то владетельных рук студенческой богемы к новым коммунальным жильцам, признающим за искусство только изречения в календарях, поклоны цирковых медведей и афоризмы из «Бегемота». Все, что имело отверстие, чтобы светить, и другое, чтобы дышать, — уплотнялось «мастеровыми» из армии, не желавшими возвращаться домой, или учениками без школ и учебников. Упадочность настроений и отсутствие общественных поправок вели к

расслабляющей манерности имажинизма, к кабацкой пугачевщине. Громко величали и хоронили не погибшего в душевных муках Есенина, а прятали недоуменные и пропащие лики Есениады. Ничего нет верного и дорогого, и для нашего поколения не будет. Пир революции замолк, сальные свечи выгорели, столы опустели, будни пришли в смазных сапогах, в поту и в расчетах. Не все умели уложить кое-какие идеалы в тарифную заработную сетку или придавить сомнения «молитвенником» Энгельса, по наряду рожать и под Эрфуртские каноны пропивать прошлое. Хорошо работать, чтобы жить, и жить хорошо, чтобы работать — умели немногие.

С Сергеем Есениным, поэтом крестьянским, встречались в разное время случайно и бестолково. Брюсов и Блок сторожили входы у моих пышных и тайных поэтических замков. Война тоже не возвела поэта в героя. В его признаниях, довольно ребяческих, не нашлось патриотического самозабвения и жгучего человеческого негодования. Гримасничали Маяковский и Крученых, и склонялся в реверансах картинных Игорь Северянин. Гумилев держался стороной, а Бальмонт был в те дни не с нами. Период «Марта» и «Октября» вообще вычеркнул поэтические излишества. Но спадало половодье, и слова стали обретать знакомый смысл. Воровскими закоулками потянуло к чистокровному, российскому... В Замоскворечьи с перебоями зазвонили часовни, загудели «именитые» октавы у Василия Кессарийского, затолковали о музеях, о ресторациях, о неприкаянном наследии старины...

Трагический лик Гумилева и смертные предвестия Блока забывались. Влияние Брюсова походило на воскресные проповеди для вдов и сирот. К словам «родная поэзия» — чаще прибавляли имя Есенина.

Покровительство партийной критики действительно самому талантливому парню от сохи, реклама Айседоры Дункан, скандалы в русских и заграничных кабаках, а самое главное, запах родной земли в его стихах — создавали Сергею Есенину необычную значительность.

За неудачами «сегодня» многие видели лучшее «завтра», знали, о чем жалеть и кого ненавидеть, а поэт не верил в тысячи солнц, способных растопить проклятые будни. «Какая тут может быть логика в такой неразберихе». Я слышал от издательств, от литературных могикан, что Есенин часто жаловался на творческую неустойчивость, все собирался «начать сначала» и служить «счастью самих вещей». Следовательно, бывший у меня накануне похорон Ленина, дал о поэте краткую «судейскую» характеристику:

«Видите, парень из хорошей деревни, а на фронте оказался дезертиром; был то эсер, то стал анархистом. Религиозен, как дьячок, читал стихи Царице, а теперь декламирует Красному Кремлю. Убежден, что немощи наши от инородческого засилья; тянулся в Европу, а неуч, вот и разводит карусели»

Следователь был желчный человек и смотрел на Россию сквозь допросы и решетки, но факты сообщал в том же порядке, как о них не раз проговаривался сам поэт. Однажды в редакционном секторе условились с Есениным отправиться на барже по Волге, намечался плавучий книжный рейс в Нижний Новгород. Ничего из поездки не вышло. В другой раз, в Доме союзов, он подошел неряшливый и злой, с помятыми эскизами книжной обложки, толкался, сквернословил, звал куда-то «к богомазам на Селезневку». Друзей около него всегда вертелось много, охотно пили, усердно хлопали и по плечу, и по карману. В щегольском наряде он так же легко переходил от одного к другому, как менял молчаливую созерцательность на крикливые терзания... На Воробьевых горах просыпалась весна. Голодное воронье, точно из короба, сыпалось на порыжелые ветви и пугало первую пташку. Почки наливались, как девичьи губы, и даже у попрошаек — старух, бабушек будущих лишенцев, и у сборщиков-погорельцев из Сергиева — голоса ворковали певуче и зелено.

Мы трое, Есенин и начальник туркестанского пограничного отряда, возвращались с гор. Волосы мокрые, куски глины на подошвах, галстуки в карманах — гоготали вслед

голенастым физкультурникам и искали путеводной вывески трактира. К полдню добрались к Никитским воротам. Талый снег подгонял счет пионерских команд и заставлял торговков грязными рукавами прикрывать лотки с булками. Из Скатертного переулка плавно выскользнула карета, запряженная парой серых; на месте кучера сидел детина в шинели с зеленым бантом. В трубчатых гнездах фонарей белели букеты цветов, и в карете среди двух улыбавшихся девочек куталась в черное атласное мантио необычно изысканная дама. Карета объезжала кучи щебня, а Сергей стремительно бросился по мостовой, поднял шапку и закричал, точно был один в поле:

— Дру-у-ги, на-а-м к удаче, по-о-знакомьтесь!

Плохо отчищенные, не гладкие от академического пайка, рысаки косились на наши покрасневшие руки, а дама, раскрыв высокий воротник, совсем неожиданно в легких туфельках сошла на мокрый камень улицы.

Улыбнувшись нам, протянула Сергею обнаженные, хорошо изваянные руки...

На бледном, немолодом исхудалом лице с подведенными бровями пылали горячим огнем прекрасные глаза.

Снежные хлопья таяли на бескровных губах, девочки хлопали в ладони. Дама смотрела на Сергея долгим неотрывным взглядом, проводила пальцами по его щекам и повторяла с невыразимой лаской, с непередаваемой по-русски интонацией:

«Милый... Милый...»

Сергей, неуместно громкий, угловатый, кричал нам недобрые слова, отказывался ехать, а нас приглашал в экипаж, что-то обидное сказал подросткам. Не то от снега, не то от слез женщины стали влажными веки, она торопливо завернулась в накидку, села на кожаные отсыревшие подушки и прижала к груди головы девочек. Карета скрылась за углом Никитской.

Сергий досадовал на нашу неповоротливость и мял в петлице маленькие фиалки из марли и проволоки... фиалки Айседоры Дункан...

Не поэтом, а рекрутом в революционной гулянке стал он мне казаться после этого случая. Безотчетно свой внешний расплывчатый материальный бунт он перенес и на творчество. Ясно было, что не по плечу ему годы огромных крушений и ко многому обязывающая известность. «Так водопады благополучия и экспрессы блаженства, как он говорил, уступали место ситцу и онучам».

Зимой после ночной работы зашел в кафе «Стойло Пегаса». Звучный оркестр играл мелодии, тогда еще не запрещенных романсов Покрасса и Дризо. На тесной неприбранной эстраде поэтесса декламировала о сладострастии гвинейцев. Под стенными примитивными разводами художников гомонили провинциалы, приехавшие подивиться на имажинистов; цыганил хор под захватывающую пляску Артамоновой и в конце читал новые стихи Есенин.

Ушел и долго не показывался, а потом сел рядом, уже захмелевший, как всегда, довольный хлопками поклонников. Провинциалы, разгоряченные обилием талантов и знаменитостей, запели: «Вы жертвою пали», на них зашикали, а Сергей застучал ладонью:

— Ну, вы... персяки без ермолок!

Шмыгали мимо друзья проституток, предлагая непристойные рисунки Кремля. «Пегас» напивался. Разложив какие-то бумажки с адресами, отрывками стихов и измятые червонцы, поэт впадал в меланхолию.

— Это вы, совчиновники, испоганили новую Московию, выдумали портфели и мандаты. Вы ищите во всем отчет и смысл, а он только в любви, в земле. Вот меня с высоких гор тянет в долины, как моих предков, к лошадям, к хомуту...

Поедем куда-нибудь подальше, попроще, чтоб перестать думать. Извозчик повез к «Лександру Иванычу», в один из переулков у Казанского вокзала, в кафе-пивную.

«Просвещение в массы», «ликвидация неграмотности», как и встарь, в трактирах

обсуждались живее и глубже. Столовки «с продажей на вынос» и пивные работали в ногу со школами и клубами.

Они гнездами стрижей лепились к сельским и фабричным задам, к красноармейским казармам и даже к родильным приютам. В двух больших залах «Лександрыча» устойчиво пахло вареной колбасой и прокисшим пивом. При входе надпись по кумачу: «Учение есть популярный факел нашего недоразвития». «Подарок от посетителей», — гордо объяснял хозяин.

— Ого, здорово пущено... Бутырская академия!

Сергей повеселел. Обидный пустяк мог погрузить его в мрачную озлобленность, и какая-нибудь пустяковая приятная неожиданность — делала шумным и щедрым на целый вечер. Над стойкой пестрели лозунги, крепкие, как запах невыношенного тулупа: «дух пролетариата — невидимый кабель между слоями народностей» или: «капитализм околачивает середняцкие и бедняцкие недостатки», — все выдумки благодарных посетителей. В красном углу большой портрет Ленина издания ВСНХ, плакат со школой по образцу голубятника, какие изображал художник-конструктор Лавинский для главполитпросвета. За столами тесно, посетители разные: бывшие домовладельцы — теперь газетчики и торговцы ларьков, носильщики из учителей, извозчики из офицеров, бездомные рабфаковцы, совчиновники до десятого разряда тарифной сетки; женщины заходили поздно ночью. Речи кругом в повышенном занозистом тоне:

— Эй, как ваш текущий момент протекает?

— Спасибо. Горсовету на разведение — Главтютю на утешение.

Под перебор балалаек эстрадная пара «Трынди-Брынди» выбивала лапотную чечетку. Мы пили водку из чашек, размешивая в них колотый лед и нарубленные лимонные корки, под жареную воблу и рассыпной запеченый картофель, — вкусная «алкогольная» чепуха, придуманная Сергеем.

В полутемном углу играли в карты «придворные» гости Лександрыча: полотер, когда-то талантливый педагог, седой инструктор из наробраза, бывали предводитель дворянства и трамвайный билетер, прежде сенатский чиновник.

Играли с прибаутками:

— Бубенки даровые, комбады тыловые.

— Что уж, наробраз научит раз, а полтора засчитает.

Ночной трактирный дурман создавал мимолетные привязанности, дружбу на час, и Есенин жадно глотал изнуряющую отраву таких часов.

Говорили о литературном подхалимстве, о нарочитом презрении к прошлому, о Пушкине, о дешевизне «Любви» и деревенской скуке, пропитавшей столицы.

— Слушай, я вижу ее (Россию) как в окне... и ничего не хочу. Ты книги возишь вагонами, почему книг сейчас много разных, потому что врут все, вот почему...

Наши врут подло и дружно. Пахнет везде, как от опилок в уборной, а они... ну их... Копилка бездарей, а становись, кричат, по порядку... На чужую каланчу забрались и звонят, а прихода нет, никто не слушает. Творчество у многих: «карета с мощами фрейлины седой, что возвращается домой», а дома не существует, сожгли, между прочим... Остается идеология, продукты пайковые и идеология пайковая.

— Хочешь, Сергей, поехать в вагоне по союзу, месяца на два?

Он обиделся:

— Думаешь, страну не знаю, выписался, лучше тебя знаю; ты не поймешь мужика по моему... Незачем мне ехать — хуже стану... Видишь те... желтенькая и черненькая — давай пошлем им по червонцу — пусть пойдут домой, хотя раз отоспятся и пожрут за наше здоровье... Ну давай...

Его грызла тоска и ненасытная зависть к возможному когда-либо расцвету жизни, горечь за юность, не снарядившую его доспехами уверенности и богатства. Мутным недоверчивым взглядом старался уловить на моем лице — не смеюсь ли, и по-родному становилось жаль, что судьба не дала ему своего Александровского лица или Пажеского

корпуса, что руки умели лишь бить по столу, хватать женщин и грозить в неведомое. — Пришли, друг, почитать Шпенглера, пришлешь? Ты знаешь, как трудно собрать аэроплан, однако собрали, изобрели радию, а для русских надо только одно — микстуру, чтобы не думать о том, что было и что еще будет, тогда революцию перенесли бы с мостовых в самую душу...

— А то лихач, центровошь, Бухарин, это не запад, как тут зазвучит пушкинский ямб... Он спрашивал, но не ждал ответов. Пришло на мысль заговорить о Блоке. Только что для передвижных книжных баз выписал наряды на последний том. Стихи Блока, как и дешевые издания Лермонтова, Пушкина, Некрасова начинали расходиться в самой глухой провинции.

В поисках заработка «лишенцы» и энергичные люди из натерпевшейся интеллигенции, отсеивались на окраинах, в дремотных захолустьях. Они благотворно влияли на грамотность окружающих «Гаврил и Микиток». Провинция искала прежних довоенных книг с прежними довоенными словами.

— Скажи, Серега, как ты представляешь родину, не в политике, а в ощущении, в образе. Помнишь, писали... Блок олицетворял ее «Прекрасной Дамой» и дошел до комиссариатской девицы.

Есенин стал хмурым и скучным. Искоса посмотрел на картежников, вылил водку в горюх и, недобро улыбаясь, сознался:

— Не знаю, вот оглянусь к деревне — думаю — там Россия. Живу в городе — думаю здесь... Вместе не выходит. А ты веришь — они знают, — кивок на портреты и плакаты. — Нет. Небось знали бы, так о царе брехню писать перестали и чекушки разогнали...

Напомнил о первой встрече в студии на Грузинах. «Фу, черт, помню. Креслица, как полаты, картины с голыми людьми, старик верзила мотался и ворчал на глупую поэзию. Он и от Клюева меня привел... Потом к Переплетчикову у почтамта поехали, деревянных богов смотреть... Многозвенная пора, жилось, как реке плескалось...»

Задумался, посерел, забыл о ночи и о салоне Лександрыча.

«Скажи по душе, нравились тебе те годы?»

«Во всю. Подрасти хотел каждый день. Верил, сильно всем верил. Думал себе, успехов — на сто лет хватит. Раз целую ночь у памятника Пушкину просидел. Показалось, не он — я стою превыше... Может быть, уехал бы далеко — узнал...»

Крепко до боли сжал колено.

Столы в трактире пустели. Вышли на Сретенку.

В предутренней свежести просачивались отзвуки отдаленных гудков и грузовиков. В клубе политохраны мыли окна, у известковых творил рабочие молча ели картофель и ржавые селедки.

На Новинском бульваре, на кучах дерна и бумаги спали старухи и бездомные собаки. Открывались квасные и папиросные будки. Дымились лотки с дешевыми лепешками на кишечном сале, стучали бидонами молочницы, и скрипели редкие подводы от застав на рынки. После этой ночи я отправился на север, а Есенин на юг. Можно было ли сказать, что так скоро он свернет на свой последний путь, в узеньком гробу, мимо Герцена и бронзового Пушкина к Ваганьковскому пристанищу. Что без остатка размыкается творческая привязанность к земле и кипучие страсти ускачут на розовых конях. Мне он виделся женихом, который прощался со зряшными скандалами, чтобы остепениться и толком полюбить Русь. Новые улицы, размытые потоками противоречий и пьяных истерик, не отпустили... Из газет и издательских коридоров донеслось несколько вздорных слухов, нежный, новый ситцевый томик разошелся по библиотечным полкам, и не стало шальной и такой пламенной жизни.

Он приехал в Петербург и всем встречавшим его говорил, что приехал писать поэму новой любви, потянуло к островам, к прямым улицам, к финскому пейзажу. Вечером 27 декабря, в гостинице «Англетер», сказал швейцару, что будет отдыхать и заниматься в

номере часов до двух следующего дня. Если будут спрашивать, никого не нужно пускать. Позднее вызвал номерного служащего и еще раз предупредил: — Хочу один отдохнуть, не пускайте, хотя самого черта, и не стучите напрасно.

Постель была смятой, но спал ли Есенин ночью, сказать невозможно, во всяком случае встал рано утром, рылся в столе, уничтожил какие-то письма, потом искал чернил, но их в номере не оказалось. Такие вещи в «Англетере» дают по особому заказу. Под руки попался тупой нож, он довольно глубоко надрезал руку над кистью, видимо, много раз брал пером кровь, запачкал рукав и бумагу, пока написал, как всегда, немного вялым, неровным мелким почерком девять последних строк:

*До свиданья, друг мой, до свиданья,
Милый мой, ты у меня в груди:
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.
До свиданья, друг мой,
Без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей,
В этой жизни умирать не ново, —
Но и жить, конечно, не новей.*

Крепко связал петлю, зацепил один конец шнура за трубу парового отопления и повесился. На стене остались следы от пальцев... Говорили, что в повороте тела, в лице и в скрюченных ногах застыло жестокое предсмертное страданье. Умирать было неловко и трудно. Лицо затем «отошло»; в гробу он казался моложе и меньше ростом, чем был на самом деле. Обнаружили его, окоченевшего, около 11 часов утра. Через день тело вскрыли в Нечаевской больнице. Врач заметил, что несмотря на бурную жизнь, поэт был сильным человеком и мог бы прожить долго. Мозг и сердце его были в полном порядке и ничем особенным не отличались.

Сестра и жена поэта взяли бумаги и вещи, только у швейцара я с трудом достал небольшой портретный рисунок, брошенный поэтом в день приезда вместе с чьим-то деловым письмом.

Смерть Есенина явилась фактом оглушающим и мучительно скорбным. Состоялись траурные вечера. В одном из театров на сцене небольшой портрет поэта, густо увитый цветами. Никаких эмблем, знаков и лозунгов в зале. В плотных рядах сидели молодые поэты, старики-педагоги, много партийных деятелей и молодых женщин, несколько человек в красноармейских мундирах.

После краткого вступления о деревенской жизни поэта и его значении в революционной лирике послышался грудной, вибрирующий и струнно-нежный голос известной актрисы: «Светом озаренный, наш поэт Сергей... умер!..»

Голос высоко зазвенел, потом со стоном надломился и оборвался... И в разных углах зала, среди крепко-рослых, не обласканных эпохой людей, послышались рыдания...

Новый мир

1995 №9

Шумихин С. Последняя жена Есенина

Письма С. А. Толстой-Есениной к М. М. Шкапской, Б. М. Эйхенбауму и Е. К. Николаевой. 1925 — 1944. Предисловие, публикация и примечания С. В. Шумихина

Из книги: Русское зарубежье о Сергее Есенине. Антология. - М.: Terra — Книжный клуб, 2007. - 542 с.



Женщины и любовь занимали в жизни Есенина сравнительно небольшое место. У него было множество любовных связей, три “законных” жены — Зинаида Райх, Айседора Дункан и Софья Толстая, но в глазах близко знавших его Есенин оставался “безлюбным Нарциссом”. Да он и не особенно стремился скрывать это. “Я с холодком”, — любил он повторять Надежде Вольпин, матери его сына, которого Есенину так и не пришлось увидеть.

Писателю А. И. Тарасову-Родионову Есенин говорил накануне своего отъезда в Ленинград 25 декабря 1925 года, за пять дней до смерти: “Только двух женщин любил я в жизни. Это Зинаида Райх и Дункан. А остальные... Ну, что ж, нужно было удовлетворить потребность, и удовлетворял <...> Как бы ни клялся я кому-либо в безумной любви, как бы ни уверял в том же сам себя, — все это, по существу, огромнейшая и роковая ошибка. Есть нечто, что я люблю выше всех женщин, выше любой женщины, и что я ни за какие ласки и ни за какую любовь не променяю. Это искусство” (“Минувшее”. Исторический альманах, т. 11. М. — СПб. 1992, стр. 367 — 368).

Последней женой Есенина стала внучка Л. Н. Толстого Софья Андреевна. Они познакомились, по всей видимости, в марте 1925 года на дне рождения Толстой, которой исполнилось двадцать пять лет.

Софья Андреевна Толстая (1900 — 1957) была дочерью Андрея Львовича Толстого (1877 — 1916) от брака с Ольгой Константиновной Дитерихс (сестра жены известного толстовца В. Г. Черткова). Первым мужем С. А. Толстой (с 19 октября 1921 года) был Сергей Михайлович Сухотин, сын от первого брака толстовца М. С. Сухотина, женатого вторым браком на дочери Л. Н. Толстого Татьяне Львовне, тетке С. А. Толстой. Сергей Сухотин стал известен тем, что в декабре 1916 года вместе с великим князем Дмитрием Павловичем, князем Феликсом Юсуповым и В. М. Пуришкевичем принял участие в убийстве Распутина. После революции он некоторое время исполнял должность комиссара Ясной Поляны (его сменила дочь писателя Александра Львовна Толстая). Брак с Софьей Андреевной оказался непродолжительным: в январе 1922 года С. М. Сухотина разбил паралич. Он расстался с женой, у которой уже после развода родилась дочь. Впоследствии, в 1925 году, парализованный С. М. Сухотин уехал за границу, где и умер.

В то время, к которому относится первое из публикуемых писем (от 20 апреля 1925 года, первые 4 листа письма отсутствуют), Софья Андреевна переживала бурный роман с писателем Борисом Пильняком. Это было сильное чувство с нервным, каким-то “достоевским” оттенком. Есенин “увел” ее у Пильняка, и отношения со старым приятелем испортились в последний год жизни поэта, скорее всего, из-за этого. Свадьба Есенина и Софьи Толстой состоялась в июле 1925 года, после чего они уехали в свадебное путешествие на Кавказ. Официально брак был зарегистрирован только в сентябре, причем формальный развод с Дункан Есениным оформлен не был. Многими близкими Есенину

людьми его недолговечный брак с Софьей Толстой осуждался даже больше, чем трагическая эскапада, в которую вылилась женитьба на Айседоре Дункан и “турне” по Европе и Америке за два года до того. Есенин не любил Толстую и даже не пытался скрывать это. Никто не мог понять, ради чего он женился. Тяжело читать такие строки о Есенине из письма матери Софьи Андреевны, О. К. Толстой, к Р. А. Кузнецовой, написанного 11 января 1926 года:

“Я вот абсолютно не понимаю его жизни, многое в ней мне даже отвратительно. Когда увидимся, расскажу более подробно, а в письмах невозможно: слишком безобразно и тяжело, непередаваемо. Сейчас мне одна знакомая рассказала, что Соню обвиняют, что она не создала ему “уюта”, а другие говорят, что она его выгнала. Да какой же можно было создать уют, когда он почти все время был пьян, день превращал в ночь и наоборот, постоянно у нас жили и гостили какие-то невозможные типы, временами просто хулиганы, пьяные, грязные. Наша Марфа с ног сбивалась, кормя и поя эту компанию. Все это спало на наших кроватях и тахте, ело, пило и пользовалось деньгами Есенина, который на них ничего не жалел. Зато у Сони нет ни башмаков, ни ботков, ничего нового, все старое, прежнее, совсем сносившееся. Он все хотел заказать обручальные кольца и подарить ей часы, да так и не собрался. Ежемесячно получая более 1000 рублей, он все тратил на гульбу и остался всем должен: за квартиру 3 мес., мне (еще с лета) около 500 руб. и т. д. Ну, да его, конечно, винить нельзя, просто большой человек. Но жалко Соню. Она была так всецело предана ему и так любила его как мужа и поэта, что будущей преданности нельзя найти. Просто идолопоклонство у нее было к нему, к его призванию...” (Панфилов А. Есенин без тайны. М. 1994, стр. 183 — 184).

Действительно, Софья Андреевна искренне полюбила Есенина вопреки всему. Их короткая совместная жизнь, продолжавшаяся около года (с перерывом на месячное пребывание Есенина в психиатрической лечебнице П. Б. Ганнушкина, откуда Есенин вернулся в квартиру Толстых на Остоженке лишь затем, чтобы забрать вещи перед своим предсмертным отъездом в Ленинград), была омрачена чередой тяжелых сцен. После смерти Есенина С. А. Толстая сделала очень много для сохранения его литературного наследия. Она была хранительницей Музея Есенина при Всероссийском Союзе писателей. Музей закрыли — не прошло и двух лет с его открытия — в пору борьбы с так называемой “есенинщиной”. В дальнейшем много лет Софья Андреевна была директором Музея Л. Н. Толстого в Москве. В те годы, когда творчество Есенина находилось под негласным запретом, она подготовила два сборника его стихотворений (“Стихи и поэмы” в 1931-м и “Избранное” в 1946 году). Огромные усилия приложила С. А. Толстая также к восстановлению разрушенной гитлеровцами Яснополянской усадьбы.

Прошедшие трагические десятилетия страшно изменили жизнь страны. И близкие Софье Андреевне люди, и те, с кем она враждовала, одинаково исчезали в жуткой мясорубке. “Врагом народа” была объявлена “невозвращенка”, ее любимая тетка Александра Львовна. Были репрессированы Борис Пильняк, Николай Клюев, Василий Наседкин, Иван Приблудный, первенец Есенина Георгий (Юрий), Вольф Эрлих, Илья Ионов, Илларион Вардин, Всеволод Мейерхольд... После ареста Мейерхольда была зверски убита у себя в квартире Зинаида Райх — и это преступление осталось нераскрытым. В какой-то момент С. А. Толстая “сломалась”; отсюда ее состояние, отмечаемое некоторыми современниками: “Софья Андреевна Есенина-Толстая, так много сделавшая для сохранения памяти о муже, была доведена до того, что на склоне своих дней, тяжело больная, обобранная и напуганная, отгородилась от всех одной лаконичной фразой: Я по есенинским делам не принимаю””, — писала дочь сестры Есенина Александры Т. П. Флор-Есенина (“Радунница”. Информационный сборник № 1. М. 1989, стр. 64).

Пять из публикуемых ниже писем С. А. Толстой адресованы ленинградской поэтессе Марии Михайловне Шкапской (1891 — 1952). К середине 20-х годов Шкапская была автором шести поэтических книг: “Mater dolorosa” (1921), “Час вечерний” (1922), “Барабан строгого господина” (1922), “Кровь-руда” (1922), “Явь” (1923), “Книга о

Лукавом Сеятеле” (1923), “Земные ремесла” (1925). На Петроградской стороне поэтесса держала литературный салон, в котором бывали ленинградские имажинисты, кое-кто из “Серрапионовых братьев”, Осип Мандельштам, Николай Тихонов, Юрий Тынянов и другие. Частично жизнь этого салона отражена в двух альбомах, наполненных фотографиями, газетными вырезками, стихотворными и прозаическими экспромтами и краткими дневниковыми записями хозяйки. После 1925 года Шкапская неожиданно перестала писать стихи, перейдя на журналистскую работу. Может быть, это было связано с гонениями на ленинградских антропософов, с которыми одно время Шкапская была близка, может быть, стала нетерпима религиозная нота, явственно звучащая в ее стихах, — как бы то ни было, с 1925 года не только не появилось в печати ни одного нового стихотворения Шкапской, но нет никаких признаков того, что она продолжала поэтическое творчество хотя бы для себя. В 1930 — 1932 и в 1942 годах Шкапская опубликовала пять сборников производственных очерков и одну книгу фельетонов — от поэзии это было неизмеримо далеко. Только в 1979 году ее избранные стихи были переизданы в Лондоне Б. Филипповым, что стало первым после долгих лет забвения напоминанием о талантливой поэтессе.

Два письма адресованы замечательному литературоведу, много писавшему о Л. Н. Толстом, Борису Михайловичу Эйхенбауму (1886 — 1959). И одно, насыщенное сведениями о жизни в волошинском Доме Поэта в Коктебеле, эпохи уже легендарной, — поэтессе Евгении Константиновне Николаевой (1898 — 1946), автору книги стихов “Разговор с читателями” (М. “Узел”. 1927). Все публикуемые письма хранятся в РГАЛИ (ф. 2182, оп. 1, ед. хр. 497 — письма к М. М. Шкапской; ф. 1527, оп. 1, ед. хр. 604 — письма к Б. М. Эйхенбауму; ф. 2291, оп. 1, ед. хр. 101 — письмо к Е. К. Николаевой). Цитируемые в примечаниях архивные документы также из РГАЛИ, поэтому указания на архив в архивных шифрах опускаются.

1

Шкапской Марии Михайловне 20 апреля 1925 г.1

Простите, родная моя, пришлось прервать письмо. Оказывается, моя идиллия отнимает много времени. Ведь нужно и хочется делать все, как полагается. Поэтому и яйца красила, и белки сбивала, и творог протирала, и со всеми христосовалась, и со всеми разговаривала (народу здесь пропасть — и старые и новые служащие, учителя, фельдшерицы, завхозы и т. д., и т. д.). Еще приятельница одна моя приехала и тетка моя Александра Львовна² здесь (я ее обожаю — она замечательная). У нас в комнате два пуделька живут по полтора месяца. Их и кормить и гулять надо, и вообще много смешной возни с ними. А к завхозу племянник приехал. Красивый, подлец, и 3-й день думает, как бы со мною в лес уйти. А мне ск-у-у-у-учно! А вчера мы все, во главе с теткой, целой оравой и окруженные деревенской детворой целый день как сумасшедшие бегали в лапту, в палки, бились в городки, и вчера я думала, что мне 12 лет. Ну, а сегодня... Сегодня я хожу раскорякой, как старый кавалерист, не могу смеяться — так все мускулы болят, думаю, что мне много больше 25 лет, в зале играют какого-то грустного Chopin'a, и сегодня я получила телеграмму, что Б. А.³ не приедет сюда. Почему — не знаю. Когда я ему сказала, что еду в Ясную, — он затрепыхался и попросился тоже. Должен был подобрать для приличия какого-нибудь писателя и приехать на Пасхальной. И не приедет. И Вы понимаете — вот так всегда и все. Вы пишете, весна. И так Вы хорошо о ней пишете. А я вот эти только 4 дня в Ясной ее немного почувствовала. Мариечка (простите, так захотелось назвать Вас), моя весна отшумела в те безумные, прекрасные первые дни марта. Отшумела. А теперь что? И Август, и октябрьские дожди, и июльские грозовые ночи, и январские морозы. А так как — вся я в том, что во мне, — то и не чувствую весны кругом.

Я очень перед Вами виновата, что не исполнила Вашего поручения к Зайцеву. Но Клавдии Николаевны я все не могла добиться, а адреса Зайцева я не знала. Получила Ваше письмо перед самым отъездом в Ясную. Вернусь в Москву в конце Пасхальной и сейчас же пойду к Зайцеву. Очень жалко, если все это Вас беспокоило и огорчало.

Была в прошлый вторник на 100-м заседании Союза Поэтов. Председательствовал Шенгели. Выступало пропасть поэтов. Между прочим, Адалис — в голубой кофточке с наивным отложным воротничком, лицо жутко бледное, глаза почти закрытые. Читала то же, что и нам тогда. Все-таки это необычайно очаровательная женщина. Читала жена Шенгели. Стихи поганые, но сама прелестна. А он что-то не показывается на моем горизонте, и мне это грустно. Видаю Приблудного. Представьте, его книжка скоро выйдет — печатает “Никитинский субботник”. Недавно видела Федорченко. Она почему-то знает, что мы с Вами дружим, бросилась на меня и стала говорить о Вас. Вы ей страшно нравитесь, и она хочет с Вами водиться. Ваня Приблудный был в СПб., но к Вам не попал, потому что ездил туда в одной рубашке, а адреса у него в пинжаке (!). С Есениным он поссорился, потому что тот говорит, что Ванька нечист на руку, и очень серьезно меня в том убеждал, и Б. А. тоже. Но я не хочу ни думать об этом, ни верить этому.

Слышали ли Вы, что 29 Мая в Феодосии будет праздноваться юбилей Макса (30 лет лит<ературной> работы)13.

Ну, я ничего больше о “литературе для всех” писать не буду. Хотите о “литературе entre vous”?

Та ночь (или сутки?!), с Есен<иным и Приблудным прошли благополучно. Моя добродетель была подтверждена медведем Сергеем, который сказал: “Ты ее люби. Она тебе верна. Я с ней всю ночь провел, и ничего не было”. И сколько Б.14 ни отрицал, что не ему я верна, — С.15 не поверил. Но все-таки ежедневно и по нескольку раз звонил телефон и происходил такой разговор: С.: — “Поедем туда... поедем сюда... Приезжай ко мне, у меня собираются... Я приеду к тебе”. Я: — “Занята. Устала. Не буду дома. Не могу, не могу...”

Скажите, что у меня характер!

Наконец последний вечер. Завтра он уезжает в Персию. Моя дорогая, ведь я же нормальная женщина — не могу же я не проститься с человеком, который уезжает в Персию? Докладываю Б. А. и еду к Сергею. Он уже пьет водку. Приходят всякие люди. Приезжает Б. А. Дорогая, представьте себе такую картину. Вы помните ту белую длинную комнату, яркий электрический свет, на столе груды хлеба с колбасой, водка, вино. На диване в ряд, с серьезными лицами — три гармониста — играют все — много, громко и прекрасно. Людей не много. Всё пьяно. Стены качаются, что-то стучит в голове. За столом в профиль ко мне — Б.: лицо — темно-серое, тяжелое. Рядом какая-то женщина. И он то держит ее руки, то за плечи, то в глаза смотрит. А меня как будто нет на этом свете. А я... Сажу на диване, и на коленях у меня пьяная, золотая, милая голова. Руки целует и такие слова — нежные и трогательные. А потом вскочит и начинает плясать. Вы знаете — когда он становился и вскидывал голову — можете ли Вы себе представить, что Сергей был почти прекрасен. Милая, милая, если бы Вы знали, как я глаза свои тушила. А потом опять ко мне бросался. И так всю ночь. Но ни разу ни одного нехорошего жеста, ни одного поцелуя. А ведь пьяный и желающий. Ну, скажите, что он удивительный! А к<a>к они за здоровье друг друга пили! Необыкновенно забавно наблюдать. И вот наступила минута, когда мне было предложено ехать домой. Не поеду — с Б. А., наверное, все кончено. Хочу ехать — С. в таком бешенстве, такие слова говорит, что сердце рвется. У меня несколько седых волос появилось — ей-Богу, с той ночи. Уехала как в чаду. С. был совсем пьян. На меня стал злиться и ругаться. С Б. даже не простился. Мне на другой день перед поездом звонил и всякие хорошие слова говорил. А с Б. так и не простились.

Не забуду, как мы с лестницы сходили — под руку, молча, во мраке, как с похорон. Что впереди? Знаю, что что-то страшное. А сзади, сейчас, вот за этой захлопнутой дверью, оборвалась очень коротенькая, но очень дорогая страничка.

На извозчике — о посторонних вещах и так далек, далек. Ко мне — ни за что. И тут на меня напал такой ужас. Еду и думаю: не пойдет, конец — а без него не могу. Голова с вина дикая, и мысли острые, острые. Вот подымусь на балкон и кинусь. Вероятно, он

почуял что-то. Пошел ко мне. Шепотом, чтобы мать не услышала, говорили, зная, что слова, что главного нельзя сказать, потому что сами не знаем. А главное, что говорили, вот: думал, что у нас с С. было больше, что целовались и т. д. Потом его подзуживали разговорами обо мне и С. присутствовавшие, главным образом Галя. Потом, что я “иконка”. А с женщиной — мне в пику. Много, долго, мучительно и как-то тупо, потому что что может быть непростибимее мужской ревности. А потом пришла больная, изломанная, но настоящая страсть и как будто стерла все недоговоренное. А на другой день еще хуже. Пришел такой несчастный, измученный. Сказал, что уезжает. Должен наедине решить — может ли он мне быть мужем или любовником или просто другом будет. Марья Михайловна, как я пережила эти 5 дней — не знаю. Ходила перед постригом. А вернулся — сказал, что не уйдет. Опять я на жизнь глаза открыла. Вы простите, если Вам скучно, что я пишу. Эти несколько суток для меня прошли, как года, и потому не могла не сказать о них. Стараюсь короче, но трудно. — Ну, потом пошло всячески. Очень, очень много тяжелого, непонятного, трудного. Недавно он сказал: “Ты мне с С. душой изменила”. И мне стало очень страшно от этого. Может быть, это правда. Совсем ничего не знаю. Знаю, что С. люблю ужасно, нежность заливающая, но любовь эта совсем, совсем другая. Скучаю без него очень; не жду, но грустно, что писем нет. Но ведь он так, вообще. А без Б. жизни не мыслю. Он этого не понимает или боится понять. А минутами — хочу уйти от него, потому что нет уже сил у меня на такую трудную любовь. Я очень устала. Мне хочется, чтобы меня очень любили, а не заставляли учиться любить знаменитого писателя, примитива и немца. Я ничего этого не умею, а учиться не хочу. Боюсь, что в моем письме много нелепостей. Но я ничего толкового Вам не скажу. Нельзя читать лекции по психологии, когда ходишь по канату. Да я с 5-го числа прошлого месяца ни разу еще на земле не стояла. Все балансирую под куполом. — Все это, дорогой друг, от сердца Вам пишу, потому что чувствую Вас так же близко, как в Москве. Но если бы Вы были со мной сейчас, я, может быть, поплакала бы Вам в жилетку, и Вы поняли, как я его люблю, негодяя, медведя рыжего, милого. Надо кончать. Стихи! И пишите, пишите мне, так как Ваши письма нужны. Вы видите, что я не забываю и не отхожу от Вас и, главное, не мыслю себе этого. Целую. С.

От Ирины сцена ревности за Вас! Напишите подробно, что Чуковский? про меня говорил. Ужасно интересно. Целую всех Ваших.

2

Шкапской Марии Михайловне Москва 30/III. 25

Дорогая моя, сегодня получила второе Ваше письмо. Спасибо Вам за все, за все. Не могу сказать, как мне хорошо, что Вы существуете и что мне с Вами так. Простите, очень любимая, что не пишу Вам сейчас. Обещаю через несколько дней. Я очень серьезно и странно живу. И не хочу Вас тревожить. Вы не пугайтесь и не огорчайтесь. Мне просто нельзя говорить сейчас. Я очень чувствую силу ведущего меня — нас и потому глубоко и серьезно живу. Дай Бог только, чтобы то, что завязалось между Вами и мной, не разорвалось из-за моего молчанья. Но я верю, что Вы меня понимаете. Просьбу с анкетами исполню наполовину — С. уехал. Целую Вас, дорогая, и люблю и помню.

Соня.

3

Шкапской Марии Михайловне Москва 11/I. 26

Дорогие, милые Марья Михайловна и Ирина, спасибо Вам за все, за все. Никогда не забуду Вашей ко мне доброты и помощи. Очень трудно что-нибудь сказать, но чувствую к Вам обеим очень много.

Рвусь все время в СПб., но многое задерживает здесь. Может быть, приеду после 18-го (будет большое траурное заседание).

Теперь у меня к вам обеим большая, очень большая просьба. Пожалуйста, соберите для меня в СПб. все относящиеся к Сергею фотографии, рисунки, печатное (из газет и журналов, задним числом). Вы меня простите, что я вас так прошу. Мне очень неловко.

Но на Вашу помощь я больше всего надеюсь. А мне все дорого. Деньги или вышлю, или приеду.

Марья Михайловна, спасибо за чудесное письмо — отвечу, когда увидимся.

Еще раз простите, и спасибо вам, родные, милые. Ответьте хоть открыткой.

Соня.

4

Эйхенбауму Борису Михайловичу Коктебель

Многоуважаемый Борис Михайлович,

помните ли Вы наше свиданье весной и Ваше обещанье прислать мне свою статью о Есенине.

Простите, что беспокою Вас. Но сейчас я пишу Вам, чтобы спросить о судьбе этой Вашей статьи.

К годовщине смерти моего мужа Комитет по увековеченью его памяти собирается выпустить сборник статей и воспоминаний. Материал подготавливается сейчас. Если Вы пришлете нам свою статью, мы будем очень, очень Вам благодарны.

Я остаюсь здесь до 24-го, а затем возвращаюсь в Москву. Если у Вас найдется время, пожалуйста, напишите мне несколько слов относительно моей просьбы. Лучше на мой московский адрес: Остоженка, Померанцев пер., д. 3, кв. 8.

Мне очень дорого Ваше обещанье прислать мне свою статью, и я буду очень счастлива ее получить.

Как Ваша работа над Толстым? Как полное собрание в Ленгизе? В Москве с Госиздатом все время неприятности и неудачи, так что судьба полного собрания очень неясна.

Слышали ли Вы о пожаре в Толстовском Музее? Произошел умышленный поджог, и сгорела вся Астаповская комната.

Где и как Вы провели лето? Так жаль, что Вы не смогли приехать в Коктебель. Здесь очень хорошо. Меня только раздражает множество народу, но море, солнце и горы — прекрасны.

Здесь Ирина Карнаухова, которая шлет Вам привет.

Кланяйтесь от меня, пожалуйста, Вашей жене. Как поживает Ваш чудесный сын?

Желаю Вам всего самого лучшего.

Уважающая Вас

С. Есенина.

5

Николаевой Евгении Константиновне Коктебель

Моя милая, родная, дорогая, чувствую себя бесконечно перед тобой виноватой. Спасибо тебе за письма, очень, очень они мне нужны. Не могла собраться написать — то суета, то усталость, нервы, а главное, не могу я отделаться тебе коротеньким письмом. Неужели ты на меня сердишься и думаешь, что я тебя забыла? Постоянно ношу тебя в сердце своем и думаю о тебе как о самой близкой и любимой. И с кем попало стараюсь о тебе поговорить. И увидеть тебя хочу — до ужаса!

Очень мне жалко, думаю, что еще больше, чем тебе, что не поехали мы вместе. Ненавижу Коктебель, и вообще я очень несчастна. Как ты? Неужели не стало лучше? Меня твоя вторая стадия очень расстроила. Дитя мое, будь ты благоразумна, хоть кури поменьше и дуй этот чертов кумыс. Ты не написала, нравится он тебе или нет? Я его терпеть не могла. О себе вот что: мне плохо, плохо. На пляже почти не могу лежать — сердце колотится, от купанья не сплю, от плаванья задыхаюсь, ветры издергали. Противопоказания: уже совсем черная, купаюсь три раза в день, улыбаюсь.

Сопоставь то и другое и выведи — стоило мне ехать в Коктебель? Ох, как я была права, когда не хотела ехать сюда. Людей — до черта! Все чужое и все ненужное и далекое. Я живу с Марусей, в ее комнате, проходной. Никогда я не могу за 10 минут вперед сказать, что я одна. Приходят, проходят... Хочется голову себе разбить. А уезжать некуда. Нет денег, мать в Судаке. Вернусь вдрызг? разбитой. Одна надежда на... но это потом! Имейте

терпенье. Как всегда, здесь — компания Габричевских, Шервинских и ихний огромный штат. И кроме — несколько пар, несколько одиноких и много, много женщин. Я со всеми хороша, определенно ни с кем. Женщин беру без промаха. С мужчинами разговариваю только с сильно женатыми. А то один уж стал мне голову на плечо класть при лунном свете — ну их к... Из женщин каждая думает, что она мой лучший друг, и каждая к каждой ревнует. А я их сражаю рассказом о своем настоящем друге — Жене Николаевой. Сегодня у меня кончился крупный флирт. Одна стерва, лезбиянка чистой воды, влюбилась, и извела она меня, сучья дочь! Всё совсем по-мужски, и ухаживанье, и разговоры, и такие взгляды! Я не знала, куда деваться, краснела и терялась. А сегодня она спросила a toute lettre — да или нет. И я сказала, что, конечно, нет и никогда. Обещала отстать. Вот г... собачье!

Для другой я просто “половина ее души”, так как она меня ежеминутно душит потными руками и чешет головку. Мать семейства и считает меня своей дочерью.

Было несколько действительно ценных встреч и отношений. Между прочим, твоя Звягинцева (она уехала уже). Она мне стихотворение посвятила. Прилагаю его и письмо ее. Она хорошая и тебя любит ужасно. Еще Лиза Парнок, сестра С. Я.. Очень хороша была и дорога Фрима. Ты о ней слышала от Ирины. Очень меня опекала. К моему большому горю, Надя Савкина уехала через 3 недели. Ее вызвали домой, муж рыбой отравился и умирал. Ты очень ей понравилась.

Самый для меня ценный был Ив. Ник. Розанов. Он член Есенинского комитета. Мы с ним говорили, говорили. Больше ни с кем не могу. С Максом — ни слова. От остальных всех берегусь изо всех сил, не пускаю и ни слова не говорю о Сергее.

Атмосфера малоценная, чуждая и малоинтересная. “Знаменитости” — второй сорт. Серг. Мих. Соловьев, Дурьлин, Шервинский, Ланн (поэт и переводчик, сам милый и интересный). Общее эстетско-интеллигентско-символистское и бездарь на бездари. Хочется бомбочку бросить, да не знаю какую. Все мало-мальски приличное живет тихо и обособленно. Макс и Маруся хорошие очень. Пропасть хлопот, неприятностей, а толку никакого. Все бескорыстно и для души ничего, потому что половина живущих — ерунда, остальные бездарные. Мне их обоих жалко. Марусю я еще больше люблю. Она прекраснейший человек.

Макс интересен для раскопок, и уютен, и толст.

Мамашка моя с Наташкой в Судаче. Я туда ездила на катере, оттуда пришла пешком.

Недавно получила известье, что умер отец Наташки. От нескольких ударов. Странно, дорогая, узнать, что ушел отсюда и так и где-то человек, который ведь был когда-то моим мужем, всем в жизни и которому очень много отдала я и для которого была на всем свете я одна.

Он прочел в газетах о моем браке, страшно рассердился, что “лгут”, и не поверил. Хорошо, что до конца он не знал правды.

Вот пошла серьезная часть письма. С судом огромные неприятности. Написали Савкина и Надя Вольпин. Шапиро почему-то молчит. Райх подала заявление, что Есенин был “двоеженец”, так как у него как-то не был “оформлен” развод с Дункан; поэтому мне предлагается “отход”. Не знаю, что будет. Тяжело очень, очень. И лично. Но я сама виновата, что вступила в борьбу с этими особами. Я должна была быть готовой. А главное, убей меня, я не понимаю, как можно все кричать о любви и бережении памяти и из-за злости, ревности и жадности обвинять умершего в подлоге. Боже мой, что бы он сказал, если бы знал это! Конечно, Катерина и Наседкин все знали заранее и не предупредили меня. А в моем отсутствии останавливаются в моей квартире! Ты можешь уяснить? психику этих людей?!

Я с ужасом думаю о возвращении в Москву. А с другой стороны, хочу и должна. Думаю к 1-му Сентября наверное быть. Предстоит много работы в Комитете. Перепиской подготавливаю материалы для сборника воспоминаний Комитета. Получила согласие от Горького и ужасно этому рада. А еще какая-то потребность видеть людей, с которыми я

могу свободно говорить обо всем и как-то разрядиться. От того, что я все несу в себе, я очень мучаюсь. Мне так хочется что-нибудь слышать, вспомнить. Я только стихи его читаю, как Евангелие, каждый день. И про себя, когда мне плохо. Точно помолюсь, и легче.

Дитя мое, нельзя ничего изжить. Понимаешь, ну ничего, ничего не проходит. Как часто удерживаешься от слез, от крика, от того, чтоб головой о стенку колотиться. Я не могу.

Мне надо одно — все время двигаться, менять людей, места, дома. Новое, новое, мчаться, только не останавливаться. И потому я Божьей милостью считаю то, что сейчас мне предлагается. Это моя надежда. Может быть, я с матерью поеду в... Америку! Вот чудо-то! Ей предлагают там лекции читать о Толстом и оплачивают проезд ей и мне. Я боюсь верить. Понимаешь, брата увижу, путешествие, впечатления, все новое. Настоящее лечение, то, что мне нужно. Думаю и надеюсь, что это будет не скоро, не раньше нескольких месяцев, потому что мне надо пропасть дел переделать в Москве. — Что тебе оттуда привезти? Дитя дорогое, только я там недолго, неделю останусь. А то очень соскучусь. — Напиши хоть открыточку, что получила это письмо. Пиши и помни, что я люблю тебя ужасно и ты одна у меня. Целую. Лечись.

Соня.

От Ирины давно ничего нет — не знаю, приедет или нет она.

6

Шкапской Марии Михайловне Москва

Дорогая Марья Михайловна,

мне грустно, что оборвалась наша переписка, и еще грустнее будет узнать, что Вы совсем забыли меня.

Это мое письмо деловое. Но это и проба — откликнетесь ли Вы мне? Потому что письмо Вам просто как старому другу все это время во мне назревало.

Вы мне говорили, что знаете того художника, который писал Сергея в мертвецкой. Я даже не могла добиться ничего, кроме его фамилии (Мансуров?). Этот портрет ужасно меня мучает. Но это ведь никого не касается, кроме меня. Но через месяц в Союзе Писателей открывается Есенинская выставка, и мне очень хотелось бы, чтобы этот портрет был на выставке. Это дело общее.

Дорогая, если Вам некогда, не берите этого дела на себя, только напишите мне имя и адрес этого художника.

Вот это моя очень большая к Вам просьба.

Как и где Вы? Я ничего не знаю. Как Глеб и мальчики? Напишите мне хоть немного о себе. Я очень хочу о Вас узнать, очень хочу.

А у меня все так плохо, что и писать не стоит. Много больших неприятностей, болею, ужасные, унижительные семейные дела с судами.

И вообще я старая, грустная и скучная.

Напишите мне, что Вы меня помните и, может быть, еще немного любите, как прежде. А я очень верный друг.

Целую Вас преданно.

Соня.

Не заметила, что сзади лист испорчен. Простите за уродство.

7

Шкапской Марии Михайловне Москва 15 Авг. 1927

Милая, хорошая Марья Михайловна,

не ответила сразу на Вашу открытку, потому что только сегодня удалось выяснить насчет комнаты. Не могу помочь Вашей знакомой — у нас все уже съезжаются и нет свободной “площади”.

Очень, очень была рада увидеть Ваш почерк, и грустно, что Вы так мало и только по делу пишете мне. Знаю, что сама виновата. Оправданье обычное, но правдивое — живу запутанно, растрепанно и очень невесело. Всегда хочу знать о Вас, дорогая, и люблю и

помню Вас верно. Но писать так ужасно трудно, — мое прогрессирующее косноязычье и полное неумение говорить о важном — приводят меня в отчаянье. Путаюсь и тупею в собственном существе — глупом и несчастном. Иногда не только хочется, но даже нужно видеть Вас. Знаете, ведь после Вас я уже ни с кем не говорила и не переписывалась так, как с Вами. Очень было хорошо тогда и потому, что Вы такая хорошая. Мне сейчас хочется написать Вам длинное объяснение в любви. Только Вы ведь не поверите. — Все, что я говорю, не игра в одиночество и непонятость, а просто итоги — скоро 30 лет, а жизнь моя неправильная. —

Иногда мне очень, очень страшно. —

Напишите мне о себе, о детях, о Глебе и обо всем. Мне так хочется о Вас знать. —

Весной я объездила весь юг, переводчицей с 3-мя американками. Скучно, трудно и чуждо. А лето все просидела здесь, потому что Райх подала в Верховный Суд Крыленке. Я выиграла, но лето она мне испортила. Сейчас мы с Надей Вольпин заключаем новый договор на Собрание Сергея. Очень сложно и ответственно. — А в Сентябре открывается мой Музей и происходит Толстовский юбилей. — Устала и ненавижу Москву.

— Вам очень сердечно просит кланяться Богомильский. — Целую крепко. Пожалуйста, оставьте мне местечко в своей памяти.

Соня.

8

Эйхенбауму Борису Михайловичу Москва 12 Авг. 1944

Глубокоуважаемый и дорогой

Борис Михайлович,

Ваше письмо и обрадовало, и смутило меня. Вы знаете, как мне хотелось видеть Вас в Ясной Поляне. Если помните, мы говорили об этом в Ваш последний приезд в Москву. Но у нас так еще не благоустроено, просто, даже примитивно, и в обстановке, и в столе, что я смутилась Вашим письмом, не зная, что же ответить Вам. Особенно пугает меня впечатление, которое вынесет Ваша жена от нашего спартанского устройства, и то, что она не будет довольна своим отдыхом. И все же я решаюсь уговаривать и просить Вас обоих приехать в Ясную Поляну и простить нас заранее за то, что мы плохо подготовились к приему гостей.

Отвечаю на Ваши вопросы:

карточки возьмите только хлебные обязательно. Остальные — по Вашему желанию, так как их можно “отоварить” сухими продуктами в Туле и дополнять к нашему столу.

Мы можем предоставить Вам два общих обеда, очень простых, но сытных, литр молока и овощи из нашего огорода казенного для ужина. Все это по государственным ценам. Дополнительно можно покупать сколько угодно молока по 30 р. и прочие продукты в деревне и на рынке. Хлеб стоит 30 р.

Комната на двоих, с кроватями и постельным бельем. Желательно, чтобы Вы привезли свои подушки, наши очень плохи. Меблировка убогая, бани и ванны нет, уборная наруже, посуды очень мало, лучше что-нибудь, 2 — 3 вещи, захватить с собой. Но это не крайность, какнибудь устроим Вас без особых лишений. Боюсь, что я Вас напугала и Вы перегрузите себя багажом. Поезда идут до станции Ясная Поляна. Вышлем лошадь за Вами по Вашей телеграмме.

Осень ожидается теплая и сухая и прелестная, такая, какая она может быть только в Ясной Поляне.

У нас очень тихо, мирно, и я надеюсь, что Вы сможете работать.

К сожалению, я не могла исполнить Вашу просьбу и устроить Мариенгофа. Ясная Поляна никак не приспособлена для Дома отдыха, а никаких иных связей у Мариенгофа с этим местом быть не может. Может быть, я виновата, что сказала ему когда-нибудь какую-нибудь любезность о посещении Ясной Поляны. Каюсь, но не помню. Вынуждена была послать ему телеграмму с сожалением, а Вас решаюсь усиленно приглашать, потому что Вы для Ясной Поляны не только очень дорогой гость, но и свой человек.

Пожалуйста, не сердитесь на меня за Мариенгофа. Я буду стараться всю жизнь услужать Вам в чем-нибудь другом, но не в этом.

Если Вы поедете, должно быть, через Москву, повидаетесь со мной или моими сослуживцами и узнаете дополнительные подробности, какие я могла забыть.

Низко Вам кланяюсь, дорогой Борис Михайлович, и так надеюсь на Ваш приезд. Задержала письмо оттого, что все наши гостевые были в ремонте и я не знала, когда они смогут принять Вас.

Привет прошу передать Вашей жене.

С. Толстая-Есенина.



Новый мир

1995 № 9

Эйгес Е. Воспоминания о Сергее Есенине



«Самое лучшее время в моей жизни считаю 1919 год. Тогда мы зиму прожили в 5 градусах комнатного холода. Дров у нас не было ни полена», — писал Есенин в автобиографии. Об этом времени и о Есенине, поднимающемся по ступеням известности и славы, еще не надломленном, бодром и деятельном, с «не промокшими» в кабаках синими глазами, авторе «Инонии», «Сорокоуста», «Пугачова», — воспоминания Екатерины Романовны Эйгес (1890 — ?), написанные почти сорок лет спустя после ее знакомства с поэтом. Е. Р. Эйгес родилась в большой семье, все члены которой были разносторонне одаренными людьми. Отец, Роман Михайлович Эйгес, — переводчик с немецкого (в частности, в 1892 году он перевел «Страдания молодого Вертера» Гёте). Старший брат,

Константин Романович, — композитор, пианист, педагог, музыкальный критик, оставивший воспоминания о С. В. Рахманинове и С. И. Танееве. Иосиф Романович — музыкальный писатель, пианист, литературовед. Он был автором работ о роли музыки в жизни и творчестве русских писателей (Пушкина, Чехова). Еще один брат, Александр Романович, составил аннотированное описание писем к А. П. Чехову (1939). Вениамин Романович — живописец, ученик К. Ф. Юона. Сестра Надежда Романовна — педагог, автор многочисленных книг о воспитании детей, издававшихся до середины 60-х годов. Екатерина Эйгес, окончив до революции математический факультет Московского университета, совмещала работу в библиотеках Наркомвнудела, затем — Наркомпроса с учебой на Высших литературно-художественных курсах (впоследствии — Литературно-художественный институт им. В. Я. Брюсова), писанием стихов, посещением многочисленных поэтических вечеров и выступлений — в Политехническом музее, Доме Печати, литературных кафе. В Москве тех лет такой образ жизни был типичен для развитой, близкой к литературным кругам девушки. По-видимому, стихи Е. Р. Эйгес чего-то стоили и ее не только за привлекательную внешность приняли во Всероссийский Союз поэтов. К сожалению, нам неизвестно, сохранились ли ее произведения. По отдельным стихотворным наброскам 1918 года, конечно, очень трудно судить о даровании Эйгес.

Уже отравленная ядом
Зеленых трав и тополей,
Я не могу укрыться взглядом
От убегающих полей.
Вернуться вновь к толпе, столице,
Кафе поэтов на Тверской,
В ту жизнь страдающей блудницы,
Забывшей счастье и покой.
Нет, о другом душа томится.
Здесь, в зеленеющем саду,
Москва пускай мне только снится
В своем пленительном чаду.
1918.



Стихотворение слабое, в «страдающую блудницу» верится с трудом. Среди начинающих поэтов и поэтесс, которые окружали Есенина, многие писали стихи гораздо искуснее — например, Надежда Вольпин, мать сына Есенина, впоследствии известная переводчица и автор воспоминаний о поэте. Конечно, наивные и целомудренные воспоминания Екатерины Эйгес не могут сравниться с предельно искренними записками Галины Бениславской, полный текст которых стал известен сравнительно недавно (в сб.: «С. А. Есенин. Материалы к биографии». М. 1993), или с обладающими высокими литературными достоинствами воспоминаниями Н. Д. Вольпин (в сб.: «Как жил Есенин». Челябинск. 1992). Но даже самые непритязательные свидетельства о поэте приобретают для нас все большую ценность по мере удаления от его времени. Машинописная копия воспоминаний Е. Р. Эйгес поступила в «Новый мир» от А. М. Абрамова, разбиравшего весной 1983 года, по просьбе академика А. Н. Колмогорова, архив математика Павла Сергеевича Александрова и обнаружившего в нем эти воспоминания. «Неожиданно встретила машинописная копия (25 занумерованных страниц и четыре отдельных листика) с упоминанием Есенина, — пишет А. М. Абрамов. — Когда я с удивлением спросил Андрея Николаевича, как она могла попасть сюда, он ответил в первый момент, что тоже удивлен, но затем спросил: «А нет ли там упоминаний каких-то фамилий?» Когда я нашел запись «Ек. Ром. Эйгес», Андрей Николаевич сказал: «Тогда все понятно». На мой естественный следующий вопрос ответ был примерно таков: «Это Екатерина Романовна Эйгес. Она была женой Павла Сергеевича». В архиве Института мировой литературы им. А. М. Горького в Москве хранится еще одна машинописная копия записок Е. Р. Эйгес. Записки эти довольно давно знакомы есениноведам (впервые один отрывок из них был приведен составителем двухтомной биографической хроники Сергея Есенина В. Г. Белоусовым еще в 1970 году), но никогда полностью не публиковались. Машинописная копия из архива ИМЛИ (ф. 32, оп. 3, № 50 А), в целом идентичная машинописи из архива П. С. Александрова, выполнена на другой машинке и авторизована. Пользуемся случаем поблагодарить С. И. Субботина, взявшего на себя труд сверить текст из архива П. С. Александрова с текстом, хранящимся в ИМЛИ. Обе машинописные копии, очевидно, восходят к одному, возможно уже утраченному, рукописному протографу, поскольку для не разобранных машинисткой мест в обоих оставлены идентичные пропуски, так и оставшиеся незаполненными. При публикации текст воспоминаний Е. Р. Эйгес подвергся минимально необходимой редакции: названия переименованных московских улиц, упоминаемые вразнобой (ул. Герцена и Б. Никитская, Тверская и ул. Горького), приведены в соответствие с описываемым временем — 1919-1921 годы; исправлены явные грамматические и стилистические ошибки. Воспоминания в полученной машинописи никак не озаглавлены; заголовок дан публикатором.

* * *

Познакомилась я с Есениным весной 1919 года, вот при каких обстоятельствах. Тогда литературную жизнь в Москве возглавлял Союз поэтов, обосновавшийся в так называемом «Кафе поэтов» на Тверской, д. 18. Небольшая, часто переполненная зала, эстрада, на которой выступали имажинисты, пролетарские поэты, футуристы и просто поэты и поэтессы. Среди публики изредка бывал Валерий Брюсов. Вторая комната — собственно кафе; там можно было поужинать и выпить кофе с пирожным эклер; отсюда вели две двери, одна — в кухню, на другой была надпись: «Правление Союза поэтов, председатель Шершеневич». За столиками в кафе сидели поэты, артисты после спектакля. Вот в углу за столиком сидит Есенин с каким-то издателем. Они горячо разговаривают о чем-то, что-то пишут. Про Есенина говорят, что он умеет «пристраивать» свои стихи: они то выходят отдельными книжечками, то в каких-нибудь поэтических сборниках. На эстраду то и дело выбегает молодой человек с вьющимися волосами и светлыми глазами. Это конферансье, он весело объявляет каждый новый номер выступления. Это поэт Ш. Много лет спустя я встретила этого человека: бледное лицо, ходит на больших

костылях. Обе ноги у него были отрезаны при какой-то уличной катастрофе. Теперь он пишет на машинке.

Зимой 1918 года я в первый раз была в этом кафе с моим братом на выступлении Есенина, стихи которого мне очень понравились. Само собой разумеется, мне очень хотелось попасть в этот поэтический мир. Ведь у меня самой уже была написана целая книга стихов, напечатанная на пишущей машинке и переплетенная, она имела вид книжки. Это стихи 1910-1913 годов. Тогда, до революции, я попробовала показать их Валерию Яковлевичу Брюсову. Это было на Арбате, в редакции «Русской мысли». «Мне хочется знать ваше мнение», — тихо сказала я. Но Валерий Яковлевич очень строго ответил мне, что он может только сказать, годятся или не годятся стихи для напечатания в данном журнале. Я так опешила от этого ответа, что не нашла ничего другого, как взять свою тетрадь обратно и уйти. С тех пор я не писала стихов. Так было до революции 1917 года. За это время я окончила математический факультет 2-го МГУ. После революции повсюду в Москве, точно грибы, стали появляться различные поэтические кружки, общества, литературные курсы, а также начались выступления поэтов в клубах различных районов Москвы. С радостью бросилась я в эти открытые двери поэтических единений. Так, помню, был небольшой поэтический кружок где-то в районе Остоженки, в квартире Классон, под председательством Н. Павлович, было общество «Литературный особняк»² и др. Посещала я также литературные курсы, где слушала В. Брюсова — «Ритмика стиха». Обыкновенно на выступления ходили мы вместе с братом, литературоведом И. Эйгесом. Иногда я читала свои стихи, брат выступал в качестве критика прочитанных произведений. Помню, в каком-то клубе мы впервые слушали выступление В. В. Казина. Он читал свой «Рабочий май» и сразу обратил на себя наше внимание. Он был еще совсем юным, выступал в ученической куртке. Позднее мы встречались с ним, так же как и с его другом Санниковым, очень часто в том же «Кафе поэтов».



На литературных курсах я познакомилась с поэтом Вас. Федоровым³, переводчиком, а также встретила с писателем Ив. Новиковым, с которым мы оказались земляками по Орловской области и даже квартировали вместе с моими родителями в г. Мценске, в доме Орембовских, описанном И. Новиковым в его одноименном романе⁴. Не раз бывали мы также в старинном обществе «Среда», организованном [пропуск в машинописи], где председательствовал Львов-Рогачевский. Я и брат жили тогда на Б. Якиманке, ходить приходилось пешком, трамвай ходили плохо.

В начале 1919 года я переехала на Тверскую улицу, в гостиницу «Люкс», которая была общежитием того учреждения, где я работала в библиотеке. Комната — большая, светлая, с письменным столом и телефоном на столе. Однажды, по дороге со службы, я увидела в окне книжного магазина книжечку стихов Есенина «Голубень». Я купила ее и сразу почувствовала весь аромат есенинских стихов.

В начале весны я как-то отнесла свою тетрадь со стихами в Президиум Союза. Там за столом сидел Шершеневич, а на диване в свободных позах расположились Есенин, Кусиков, Грузинов. Все они подошли ко мне, познакомились, спросили адрес. Через несколько дней мне возвратили тетрадь, и я была принята в члены Союза поэтов. А еще через несколько дней в двери моей комнаты постучались. Это был Есенин. Говорят, Есенин перед выступлением часто выпивал, чтобы быть храбрее. На этот раз он был трезв и скромн, держался даже застенчиво. Сидя сбоку на ручке кресла, он рассказывал о своем приезде в Петербург, о своей бытности там, о своем знакомстве с Блоком, Ахматовой, Клюевым, который оказал на него большое влияние. Позднее, в разговоре о Блоке, он

высказался о нем несколько иронически, называя его современным Надсоном, а его поэзию «надсоновщиной».

И вот, после блоковских таинственных Незнакомок, туманов, снежных метелей, я привыкла к другим образам, которые мне становились все ближе и дороже и которым мне хотелось теперь подражать.

Гуляя в одиночестве и глядя на окрестные места, я так писала потом одному знакомому поэту в Москве:

*Другой здесь мост высокий,
Под ним железный путь,
И все брожу я около,
А вниз боюсь взглянуть.
А если спуститься ниже —
Сколько коров на лугу, —
И думаю: скоро ль слижет
Здешний месяц мою тоску?
И месяц рукою сильной
Поднимает в свой желтый свет,
Чтобы не думать мне больше о «милом»,
Опоздавшем на десять лет.*

Слово «милый» попадалось у меня не в одном стихотворении, поэтому поэты, в том числе и Есенин, завидя меня, дразнили: «Вот «милый» идет». Потом, после того как Казин посвятил мне стихотворение, меня прозвали одно время «Музой». Кроме Казина и другие писали мне стихотворения, причем моя фамилия Эйгес многим нравилась, казалась многозвучной. Один поэт рифмовал «Эйгес» и «песни лейтесь». Они были написаны в моем специальном поэтическом альбоме, который так же трагически погиб, как и все остальное.

Очень любил писать эпиграммы В. Федоров. У меня на столе большая промокательная бумага вся была испещрена небольшими эпиграммами, главным образом на Есенина, которые, конечно, тоже исчезли.

У меня имеется рукопись стихотворения Сергея Есенина «Хулиган». Написано чернилами на бланках «Коммуны Пролетарских писателей». Всего три листа. Первоначально стихотворение, очевидно, предполагалось состоящим из четырех строф, так как за ними следует подпись «С. Есенин». Потом подпись, а также четвертая строфа зачеркнуты. Зачеркнута также строфа, следующая за подписью.

Первые три строфы стихотворения написаны почти без помарок. Остальные шесть строф, начиная со строчки «Русь моя, деревянная Русь», написаны с большими помарками, зачеркнутыми строками и написанными сверху заново.

На обратной стороне одного из листов имеется еще автограф Есенина, представляющий перечень названий стихотворений, предназначавшихся, очевидно, для какого-нибудь стихотворного сборника.

Есть у меня еще небольшое письмо-записка, обращенная ко мне, за подписью С. Есенина. Получила я рукопись Есенина при следующих обстоятельствах. Весною 1920 года я зашла как-то днем к Есенину, который жил тогда в Гранатном переулке у одного из своих сопайщиков по книжному магазину на Б. Никитской. Помню большую светлую, похожую на класс комнату. В одном из углов стоят столы, скамейки. Есенин в хорошем расположении духа. Недавно было его выступление в Политехническом музее. Он достал много свернутых в трубочки записок и сказал, что он, «как старая дева свои любовные послания», любит перечитывать эти записки. Потом он дал мне какую-то длинную записку с объяснением в любви. «Это я получил после того, как прочел свою «Песнь о собаке», — и, улыбаясь, прибавил: — Да любить мои стихи — это еще не значит любить меня».

Затем Есенин достал большую кипу с рукописями и сказал, что эти рукописи он разделит

между мной, мамой и сестрой Катей. С этими словами он отделил третью часть рукописей и дал ее мне.

Здесь я должна сейчас же оговориться. Эти рукописи, к несчастью, постигла печальная участь. Они пропали, за исключением этих трех листов, о которых я писала. «Вот, — сказал Есенин, — даю тебе третью часть своих рукописей; остальные две — маме и сестре Кате». С этими словами Есенин достал целую кипу рукописных листов и, отделив третью часть, дал ее мне. Я спрятала листки, их было штук пятьдесят. К сожалению, сохранилось только три листка, заполненных с обеих сторон, на листках бланков «Коммуны Пролетарских писателей».

Как-то, придя ко мне, Есенин застал у меня мою невестку, жену моего брата-художника. Мы сидели на диване, перед которым на полу лежал небольшой коврик. Есенин стал на одно колено на этот коврик и прочел свое стихотворение «Закружилась листва золотая в розоватой воде на пруду...». Он читал, вскидывая голову при каждой новой строчке, точно встряхивая волосами. В строчке «Я сегодня влюблен в этот вечер...» делал ударение на слове «сегодня», растягивая букву «о», так что получалось «сегоодня». Так как это было одно из первых стихотворений, слышанных мною от него, то образ Есенина поневоле ассоциировался с этим стихотворением. Вспоминая его, я и теперь слышу хрипловатый, точно заглушенный голос, присущий только ему, Есенину.

Помню, я прочитала Есенину свое стихотворение, которое оканчивалось словами: «И счастье, что было возможно три года тому назад». Он взял со стола книжку «Голубень» и написал на ней, сбоку наверху, так:

«Ек. Ром. Эйгес. Здесь тоже три года тому назад, а потому мне прибавить в этой надписи больше нечего». Жил тогда Есенин в переулке у Тверской, который подходил к углу моего дома. Иногда, возвращаясь домой со службы по этому переулку, я встречала его. Есенин шел обычно с Мариенгофом, с которым он жил в одной комнате. Как-то, встретившись и провожая меня домой, он сказал, что моя фамилия известна ему по книжке моего старшего брата Константина Эйгеса «Эстетика музыки»⁹. Часто Есенин звонил мне по телефону. Стояли весенние дни, но топить уже перестали. Кутаясь от холода и стараясь уснуть, я вдруг вздрагивала от резкого звонка по телефону. Очевидно, Есенин звонил, вернувшись поздно откуда-нибудь домой. Называя меня по фамилии и на «ты» (так было принято и заведено поэтами между собой), он говорил отрывисто, нечленораздельно, может быть, находясь в не совсем трезвом виде, вроде того: «Эйгес, понимаешь, дуб, понимаешь», что-то в этом роде, часто упоминая слово «дуб». Я, конечно, ничего не понимала, однако образ «дуба» как-то ясно запомнился. Когда в скором времени я уехала в дом отдыха, вышла в парк и увидела по обеим сторонам аллеи громадные дубы, я вспомнила слова Есенина. Мне захотелось послать ему «дубовый привет». Как раз один из отдыхающих, молодой человек, по имени тоже Сергей, уезжал в Москву на несколько дней. Я сорвала несколько дубовых веток и, перевязав их, вместе с белым билетиком, на котором было написано: «Сергею Есенину», попросила его зайти на Тверскую в «Кафе поэтов». Поручение было исполнено.

Уезжая в дом отдыха, я взяла с собой книжечку Есенина «Голубень». Гуляя по аллеям парка и сидя где-нибудь на скамеечке, я читала стихи, заучивала наизусть, впрочем, они сами запоминались, так они были теперь мне близки и понятны. Конечно, мне надо было пройти большой путь, чтобы от моего страстного увлечения стихами Ахматовой и Блока перейти к этим новым, еще небывалым образам и рифмам. Мне очень нравились его звуковые рифмы, а не писательские [так в тексте. — С. Ш.], к которым я привыкла. По возвращении из дома отдыха мы продолжали встречаться с Есениным довольно часто. Скажу даже больше. Нельзя было выйти из дома, чтобы не встретиться с парой: один, более высокий, — Мариенгоф, другой, пониже, — Есенин. Увидев меня, Есенин часто подходил ко мне.

Иногда он шел, окруженный целой группой поэтов. Есенин любил общество, редко можно было увидеть его одного. Разговаривая с шедшими с ним поэтами, Есенин что-то горячо

доказывал, размахивал руками. Он говорил об образе в поэзии — это была его излюбленная тема.

Когда же он пишет стихи? Вероятно, ночами, думала я. Домашней жизни у него не было: где-то он и Мариенгоф пьют чай, где-то завтракают, где-то обедают. Днем в кафе неуютно, полутемно, пустые столы. Из «Кафе поэтов» поэты переходят в другое кафе — «Стойло Пегаса». Там тоже поэты, артисты, чтение стихов, споры. Иногда, возвращаясь домой с работы, я видела Есенина, стоящего перед подъездом гостиницы «Люкс». Он в сером костюме, без головного убора. Мы вместе поднимаемся по лестнице, и в большом зеркале на площадке лестницы видны наши отражения. Как-то, будучи у меня, он вытащил из кармана пиджака портрет девочки с большим бантом на голове. Это портрет его дочки, и он рассказал историю своей женитьбы. «Мы ехали в поезде в Петербург, по дороге где-то вышли и повенчались на каком-то полустанке»¹¹. «Мне было все равно, — добавляет Есенин. — Потом в Петербурге жизнь сделалась невозможной. Зинаида, — так называл он свою жену, в будущем артистку Райх, — очень ревновала меня. К каждому звонку телефона подбегала, хватала трубку, не давая мне говорить. Теперь все кончено. Так лучше жить, без привязанностей». Я подумала, что сближаются люди не потому, что они часто встречаются, а напротив. Когда люди интересуются друг другом, то они начинают часто встречаться, сталкиваться друг с другом. Проходит интерес или симпатии друг к другу, и люди само собой перестают встречаться. Так было у меня и с Есениным. Я уже писала о частых встречах, но кроме встреч еще были какие-то постоянные напоминания о нем. То я увижу на улице афишу о выступлении с его фамилией, то, работая в библиотеке, я постоянно наталкиваюсь на его фамилию, разбирая какие-нибудь журналы или газеты. Это были или его стихи, или критика о его стихах. Много писали о нем в провинциальных газетах и журналах, которые мы получали в библиотеке. Раскрывая газету, я машинально искала букву «Е» и действительно наталкивалась на его имя. Вот что-то написано о нем, я с жадностью прочитываю. Ведь это было время подъема его славы. О нем говорили, писали, ходили на его выступления. Если не все проникались чувством его стихов, то многие шли ради любопытства послушать, повидать то, о чем так много говорят. Он и сам чувствовал и любовь, и поклонение, и влияние, которое он производил на молодых поэтов. Иногда он говорил про молодежь: «Меня перепевают!» Но был этим доволен. Однажды он принес мне только что вышедшую маленькую книжечку своих стихов и одновременно вышедшую такую же маленькую другого поэта, Мариенгофа. «Толькина ни одна книжка не продана! Его все книжки на полках лежат, а мои уже все проданы», — сказал он. Книжки продавались в магазине на Б. Никитской, в котором он был пайщиком.

Как-то поэт Казин написал стихи, посвященные мне, и прочел их Есенину. Есенин потом с иронией сказал: «А плохие стихи тебе Казин посвятил». Пожалуй, в ту пору он считал себя выше всех поэтов, и поэтому настроение у него было почти всегда веселое. Он еще не был тем пессимистом, каким стал всего через какие-нибудь два-три года. Летом 1919 [в тексте ошибочно 1920. — С. Ш.] я уезжала на родину в Орловскую губернию к своему отцу. Есенин тоже поехал домой к себе в деревню. Перед отъездом много покупал подарков: материи, обуви, продовольствия, сахару, как-то доставая все это. Оттуда привез белой муки.

Началась осень 1919 года. Это было время тяжелое. Холодно, голодно. Маленький хлебный паек, за которым надо было идти далеко в подвал и смотреть, как его взвешивают, потом делить так, чтобы хватило на целый день. Ведь к обеду хлеба не дают. Обедала я на службе. Говорили, что на первое — вода с капустой, на второе — капуста с водой. Иногда доставала кусочек сахара. А ведь энергии надо было много. Кроме работы в библиотеке ездили на грузовиках на станцию железной дороги разгружать дрова, убирать. Дни стояли хорошие. Осень светлая. Мы были молоды, и всё было нипочем. Хотя и уставала, но дома не сиделось. Вечером — «Кафе поэтов». Есенин провожает

домой. Он тоже молод и весел, у него много озорства, мальчишеского, ребячливого. Кто-то мне подарил небольшие цветные лоскутки, я наделала из них носовые платочки. Есенин каждый раз таскал у меня из кармана по платочку и клал в свой карман, потом, конечно, терял. Так все и перетаскал. Потом, помню, мы шли целой компанией к какому-то приятелю, живущему в переулке Арбата. Дни еще были теплые, окна открыты. В одном доме окна были так низки, что подходили к самому тротуару. На подоконнике стояли горшки с цветами. Есенин схватил один горшок и долго нес его под смех с остальной компанией. Потом бегом вернулся и поставил его на место. Придя к писателю, мы все уселись на диван, очень большой и вместительный. А Есенин стал посреди комнаты и читал свою поэму. Небо и земля слились воедино, а Есенин стоял и метал громы и молнии. Было даже страшно. Мы все поздно вернулись домой.

Иногда Есенин приносил мне из кафе пирожок, котлету или яблоко. Однажды, когда Есенин был у меня, послышался в коридоре шум, а в дверь нашу постучали — привезли картофель. За картофелем надо было идти далеко во двор, в подвал. Я дала Есенину большой мешок, и он на спине притащил картофель. Картофель был мороженный. Его клали в холодную воду, варили в шкурке и потом ели с солью. Так как хлеба было мало, то счастливицы, у которых была мука, делали из нее лепешки. И я научилась этой премудрости. Муку мне прислал тот паренек, который носил Есенину записку от меня. И сам Есенин принес мне муку, привезенную им из деревни. Кроме Есенина, часто бывал у меня один человек, с которым я случайно познакомилась. Какая у него была специальность, я до сих пор не знаю. Знаю только, что он встречался с Луначарским где-то за границей. Некоторое время жил у него в Кремле. Он был одинок, имел где-то сына и, кажется, работал в Гослитиздате. Ему понравился тот уют, который был у меня, но, главное, наверное, понравились мои лепешки. Есенин очень невзлюбил его и называл просто «борода» за то, что у того действительно была большая борода с сединой. Как-то они вдвоем сидели у меня, я ушла в кухню жарить знаменитые лепешки, вернулась раскрасневшаяся, с целым блюдом румяных лепешек. Есенин, улыбаясь, сказал: «Она стряпуха». В общей кухне, в дыму и трескотне, точно в адовой кухне, лепешки жарили не только женщины, но и мужчины, начиная от худенького научного работника в очках до маститого, наверное, одинокого зава отделом.

Муку мне принес Есенин одновременно вместе с грязным бельем, которое я должна была отдать прачке, живущей в нашем общежитии. Вероятно, не застав меня дома, он оставил чемодан с поклажей в пропуске [то есть у вахтера. — С. Ш.], с запиской, которая у меня сохранилась до сих пор.

Есенин часто помогал мне в небольших хозяйственных делах. То принесет самовар из кухни, то помогает в распорке платья. По ордеру я достала красивое бархатное зеленое платье, но такого размера, что его надо было распарывать и заново шить. Он, сидя на диване, занимался этим делом. Это платье долго у меня существовало и напоминало мне Есенина. Я тоже старалась помочь ему в бытовых неурядках: то, как я уже писала, отдавала белье в стирку, то отдавала шить ему белье. Как-то он притащил целый кусок кремового сатина. Я ходила на Кузнецкий мост в мастерскую, а из остатков с прибавкой кружев у меня вышло чудесное платье, которое так и называлось «есенинским». Отдавала чинить его знаменитую меховую шапку.

Наступала зима... В комнате делалось все холодней. До металлических предметов нельзя было дотронуться, они жгли пальцы. Есенин преобразился. Теперь на нем была светло-желтая меховая куртка, переделанная им из подаренной кем-то дохи. Ходить в дохе было бы слишком шикарно для того времени.

В круглой меховой шапке, в чем-то светлом на ногах, Есенин походил теперь на какого-то пушистого зверька. И ходил он точно зверек, мягкими вкрадчивыми шажками, всматриваясь в окружающую его жизнь пристальным, точно удивленным взглядом. По вечерам я иногда уходила на курсы художественного чтения на Моховую улицу, там читала Озаровская. Перед уходом как-то я оставила в пропуске записку на имя Есенина:

«Буду к 9-ти, будет самовар». Когда пришла, на обратной стороне записки я увидела ответ Есенина: «Очень рад, буду к 10-ти». В десять он действительно пришел, и был самовар. Мы пили чай, когда послышался звонок по телефону. Это звонили из пропуска, в 11 часов посетителям обычно напоминали об уходе. Есенин сам подошел к телефону. «Товарищ», — начал он и стал спорить и что-то доказывать. Но товарищи сами пришли и стали выпроваживать Есенина, несмотря на его сопротивление.

Есенин знал, что несколько лет тому назад я окончила Высшие курсы и готовилась быть преподавательницей. Не раз у него являлась мечта вызвать своих сестер из деревни и дать их мне на воспитание, «на учебу», как говорили. «Пусть поживут в Москве, поучатся, а потом опять в деревню уедут. Там замуж выйдут. В Москве им оставаться незачем», — говорил он. С этой целью решили снять две комнаты. Кто-то дал адрес на Спиридоновку. Ходили туда вместе с Есениным. Вышла дама из бывших. Комнаты были мрачные, с тяжелыми портьерами. По дороге Есенин сказал: «И Тольку с собой возьмем». Но комнаты почему-то оказались неподходящими, и плану этому не суждено было осуществиться.

Есенин всегда очень нежно отзывался о сестрах, говорил о своем дедушке, но как-то странно избегал говорить о своих родителях, точно их не было. Однажды он принес мне свою фотокарточку, где он еще в поддевке. Эту карточку, несколькими годами позднее, у меня брал поэт Евгений Сокол, вероятно, для переснятия, потом вернул ее мне, так что оригинал у меня имеется. А вот другие две карточки у меня пропали. Одна карточка, снятая у Паоло, в коричневых тонах, — большая голова.

Поэт Евгений Сокол изредка бывал у меня, с ним одно время дружил и Есенин. Е. Сокол приехал в Москву из Орла, так что мы были с ним земляками, хотя лично и не были знакомы. Одно время он работал в орловской газете «Голос народа». На его имя я посылала в эту газету свои стихотворения, которые были напечатаны в 1917 году, в разное время, всего пять стихотворений.

Был еще у Есенина друг, поэт Ганин. Он жил не в Москве, а в провинции. Они были внешне даже похожи: среднего роста, оба блондины. Когда тот приезжал в Москву, Есенин бывал с ним у меня.

Что касается дружбы Есенина с Мариенгофом, то она всегда казалась мне странной. Слишком неподходящи они были. Вероятно, для слабохарактерной и женской натуры Есенина требовалась какая-то опора извне. Такой опорой на первых порах и был для него Мариенгоф, который кроме того, что поучал Есенина, как завязывать галстух, носить цилиндры и перчатки и «кланяться непринужденно», научил его такой житейской философии, которая была несвойственна натуре Есенина. Именно он, как мне казалось тогда, помог Есенину расстаться с женой. «Я б никогда не ушел», — сказал мне как-то Есенин. Он и его друзья учили Есенина той легкости отношений с женщинами, которая считалась тогда каким-то ухарством, почти подвигом. Самому Есенину не нравились те артисточки и певички, которые вертелись около Мариенгофа и льнули к нему. Они были ему не по вкусу. Он любил более скромных и серьезных.

Помню, ко мне как-то зашла сослуживица по библиотеке, которая жила в том же общежитии, где и я. Есенину она страшно не понравилась, и он сразу определил ее положение, назвав двумя буквами.

Как-то, провожая меня из «Кафе поэтов», Есенин говорил, что разделяет всех людей на «зрячих» и «незрячих». Зрячие — это те, которые всё понимают. К таким людям он причислял и меня.

Был легкий морозец, снежинки крутились около нас, а мы стояли на углу Тверской, откуда каждый уходил по своим домам: я — в подъезд «Люкса», он — в переулок, в котором жил.

«Любовь бывает трех видов, — сказал он, — кровью, сердцем и умом». Когда заговорили о холодности некоторых женщин, он сказал: «Любить можно и статую». Как относился Есенин к другим видам искусства? Он никогда не высказывался ни о

живописи, ни о картинах вообще. Помню только, как одна моя приятельница, художница Ч., по моей просьбе нарисовала иллюстрацию к его стихотворению [пропуск в машинописи], представив зверька с есенинской физиономией. Я показала рисунок Есенину, и он от души смеялся, потом взял его показывать своим друзьям. К серьезной музыке Есенин тоже относился равнодушно, не любя и не понимая ее, скучал, когда слушал Моцарта. Он любил простые народные напевы. «Вот это музыка», — говорил он, подпевая, если слышал такую. Но как самозабвенно любил он стихи, выделяя поэзию из всех видов литературы. «Люблю стихи», — часто говорил он, вкладывая в эту фразу особый, полный большого значения смысл. Стихи действительно были его стихией, без которой он не мог жить. Он писал их кровью, сердцем и умом. Недаром даже в последнюю минуту своей жизни он написал стихи, чего, кажется, не было ни с кем из поэтов¹⁶, и они были написаны действительно настоящей его кровью. Кроме книжечки «Голубень», которую я сама купила, у меня была тогда еще маленькая книжечка Есенина «Ключи Марии», подаренная мне им и не совсем мне понятная. Затем он принес мне как-то книжечку «Преображение» в белой обертке-папке, с надписью по обложке: «Тебе единой согрешу»¹⁷. Эта книжка была у меня все время с собой. Через несколько лет, приблизительно в 1923 году, когда я со своим мужем, проф. П. Александровым жила в маленькой комнате на Волхонке, ко мне, по поручению Есенина, явился поэт Казин и попросил эту книгу, будто бы для переиздания. Так мне ее больше и не вернули.

Трогательно было отношение Есенина к мальчикам-беспризорникам, торгующим папиросами. Помню, как-то в морозный день я шла с Есениным по Большой Никитской, направляясь к книжному магазину, что около консерватории. Недалеко от магазина нас догнала откуда-то вынырнувшая ватага ребятишек. Они обступили Есенина и, очевидно узнав его, дергали за рукав, за полы, наперебой предлагая из развернутых пачек папиросы. Есенин остановился, обернулся к ним, добродушно улыбаясь, о чем-то с ними поговорил, кого-то похлопал по плечу... В эту минуту он, вероятно, вспомнил свое детство, деревенских мальчишек, себя героем среди них...

Когда Есенин улыбался, около рта и глаз у него появлялись мелкие морщинки, придававшие ему особенно симпатичный вид. Его улыбающееся лицо, а также полученные от него и зажатые в красных замерзших руках беспризорников кредитки делали свое дело. Лед точно таял... Становилось теплее и радостнее... Мальчики с громким гиком бросились от нас прочь, вероятно желая догнать какого-нибудь другого прохожего, который, может быть, будет с ними не так ласков, как только что был Есенин. Другой раз, зайдя как-то в книжный магазин, я застала Есенина сидящего на корточках где-то внизу. Он копался в книгах, стоящих на нижней полке, держа в руках то один, то другой фолиант. «Ищу материалов по Пугачевскому бунту. Хочу написать поэму о Пугачеве», — сказал Есенин.

К концу зимы 1919 года холод в моей комнате стал такой, что жить в ней сделалось невозможно. При дыхании виден был пар, а ложиться на холодные простыни было жутко, точно в прорубь... Кем-то подаренные мне крупные зерна пшеницы я слегка разваривала на плите, заворачивала в бумагу и клала под подушку. Каша доваривалась и от этого слегка согревала постель. Наконец начальство сжалилось надо мной, меня перевели в другую комнату, на пятый этаж. Она была не так комфортабельна, как первая. Узкая, длинная, с одним окном на двор, соответственно и вещи в ней были проще. Между кроватью и шкафом — узкий проход, у окна — маленький письменный стол с неизменным телефоном на столе. Маленький обеденный стол и около него двухместный твердый диванчик. Вот и все. Но зато в этой комнате было тепло, как в бане. Ко мне приходили греться. Из своей никогда не топленной комнаты приходил Есенин; приходил человек с бородой, любящий лепешки из белой муки. Приходя, он спрашивал: «Ну что, стишки пишете?» Его приходы кое в ком даже вызывали подозрение, а несправедливые

сплетни и вызванные ими недоразумения отчасти послужили к охлаждению ко мне Есенина, а затем и полному разрыву.

Приходил иногда поэт Санников, в военной форме, всегда с улыбкой на устах. Как-то, сидя у меня на маленьком диванчике, он читал много своих стихов, а когда пришел Есенин, он уступил место старшему товарищу и ушел.

Есенин любил пить чай и пил много, сидя за самоваром, а он был большой, никелевый. Я взяла его временно у подруги, зная любовь Есенина к чаепитью. Выйдя в коридор, он спросил у кого-то: «А куда тут после чаю ходят?»

Один раз, когда Есенин сидел у меня, я зачем-то ушла на кухню. Вернувшись, я застала Есенина за письменным столом. Он сидел и писал стихи в моем знаменитом альбоме. Я стала позади стула, на котором он сидел, и увидела вот что: «Теперь любовь моя не та, ах, знаю я, ты тужишь, тужишь...» — он всё писал. Когда он написал до конца, сверху я увидела посвящение А. Мариенгофу¹⁸. У меня отлегло от сердца. Альбом этот погиб, как я уже писала. Там же писал и Мариенгоф, только я не помню, какое стихотворение, ну да разве его стихи можно запомнить? Была и книжечка от него с автографом: «Катеньке от Толи».

Еще в этой комнате помню такой случай. Тогда по какому-то талону продкарточки давали материю. По подаренным мне талонам я получила много яркого сатина, который лежал на столе, за столом сидели я и Есенин. В это время вошел мой брат-художник. Увидев лежащую на столе материю, он собирался поздравить нас, что я поняла по выражению его лица и успела предупредить недоразумение. Тогда всем расписавшимся в загсе давали талоны на получение материи. Но у Есенина не было ни продкарточки, ни паспорта, что-то было не в порядке с военным билетом.

Между тем приближалась весна, а с нею и день 12 марта, день моего рождения. Теперь, когда я пишу эти строки, прошло сорок лет с того памятного дня, 12 марта 1917 года. Тогда я праздновала день рождения у сестры, у которой я жила. Было много молодежи, приятельниц, подруг. Вдруг в 12 часов ночи послышался резкий звонок. Пришел поэт П. Антокольский, давний друг нашей семьи и в прошлом ученик моей сестры Надежды Романовны. Он принес долгожданную весть — самодержавие свергнуто! Конец вечера прошел неожиданно, долго не расходились, обсуждая события.

Три года спустя после того памятного дня я сидела одна в грустном настроении, родные были далеко, в разных концах Москвы. Вдруг я услышала стук в дверь... За дверью стоял Есенин, держа в руках что-то, свернутое в большую трубку. Войдя в комнату, он развернул сверток: это был прекрасный ковер, расшитый яркими шелками, в русском стиле. На нем изображался Георгий Победоносец на белом коне, кругом зеленые травы-муравы. «Это тебе, ты ведь любишь», — сказал Есенин. Он знал, что я люблю кустарные вещи, коврики, которыми была украшена моя комната, но такого чудесного ковра у меня, конечно, не было. Есенин объяснил, что ковер ему подарили и что куплен он был на выставке кустарных изделий на Петровке. Зимой он укрывался им, а теперь тепло, и ковер ему больше не понадобится.

Этот ковер цел у меня до сих пор. Правда, за это время он порядочно истрепался. Несколько раз я отдавала его в чистку, отчего краски на нем потускнели. Крылышки у святого Георгия совершенно истлели. Со светлой копной волос на голове, он похож теперь на обыкновенного деревенского парня со светлыми глазами. Часто, глядя на этот ковер, я вспоминаю строчку из стихотворения Есенина: «Были синие глаза, да теперь поблекли».

Как-то Есенин зашел за мной, чтобы идти на литературный вечер, который должен был быть в каком-то большом помещении, кажется, в театре Корша. Мы немного опоздали, и, так как зал был уже полон, нам пришлось подняться на самый верх, на галерку. Здесь, в узеньком проходе, мы стояли за деревянным барьером. Кто-то скучно читал вступительное слово, потом вышел мой брат-литературовед. Он тоже читал по запискам, мы видели, как он переключивал листы, но ничего не было слышно. Есенин смотрел на

меня насмешливо, с укоризной, а снизу кричали: «Громче, громче!» Мне было очень неловко. После брата выходили поэты, которые громко выкрикивали стихи, но слов нельзя было разобрать. Несмотря на неловкость, в глубине души я верила в способности брата и думала: «Вот от этих поэтов не останется и следа, а труды брата, напечатанные в разных советских журналах, сохранятся и будут жить».

Стояли теплые весенние дни, но вечера и ночи еще были прохладны. Есенин и еще кто-то из поэтов провожали меня домой. Мы некоторое время стояли у подъезда дома, где я жила, и о чем-то разговаривали, Есенин ежился от холода и переминался с ноги на ногу. Войти ко мне было уже поздно, поэтому я сбегала домой и принесла оттуда красную бархатную накидку. Это была старинная накидка на белом шелку, с высоким воротником. Я надела ее на Есенина, и мы еще долго болтали, пока не разошлись по домам. Есенину накидка очень шла, и все решили, что он в ней похож на принца из повести Марка Твена «Принц и нищий». Тонкий, худой, с золотистыми вьющимися волосами и в этой короткой бархатной накидке, он действительно был похож на того принца, изображение которого я видела в нашей детской книжке.

Как-то Есенин ушел из Союза поэтов раньше обыкновенного, он собирался куда-то в гости, где будет много народу. Когда я изъявила желание с ним пойти, он сказал мне: «Не ходи туда, там по матушке ругаются». Надо сказать, что Есенин относился ко мне несколько снисходительно, как старший в некоторых отношениях, несмотря на то что был моложе меня на пять лет. Но он в свои 24 года гораздо более изведal и узнал жизнь, чем я в свои 29 лет. Ведь я до самой революции только и делала, что училась, сидела в лабораториях и только в воскресные дни ходила на симфонические концерты вместе с братьями. Часто, уходя от меня, на прощанье Есенин говорил мне: «Расти большая». Этими двумя словами и кончается та небольшая записка от него, сохранившаяся у меня. Этой весной в Москву на несколько дней, для сдачи магистерских экзаменов, приезжал мой будущий муж, с которым я не виделась три года. Мы много гуляли по улицам Москвы вместе с нашим общим другом С. Я рассказала об этом Есенину, который знал его по моим рассказам и стихам. «Ты его одного любишь!» — сказал мне Есенин. Летом Есенин уехал на юг, и я о нем долго ничего не знала. Во время его отсутствия наше общежитие переехало в другое помещение, из гостиницы «Люкс» в номера бывшей гостиницы Фальцфейна, на той же Тверской улице. Здесь все было попроще, у меня была маленькая, с одним окном комната на третьем этаже.

После приезда Есенин как-то сразу перестал у меня бывать. Мы встречались теперь очень редко, и наши встречи носили чисто случайный характер. Так, помню, нам на службе выдали какую-то птицу, не то утку, не то гуся, что было, конечно, тогда большой редкостью. Как раз, выйдя погулять, я встретила Есенина с М<ариенгофом>. Я пригласила их на вкусный ужин, и они долго сидели у меня в тот вечер. Осенью 1920 года я по совместительству стала работать в библиотеке Литературного отдела Наркомпроса. Едва успевая по дороге пообедать в столовой, я шла в Гнездииковский переулок, где тогда помещалось ЛИТО. Несколько раз в неделю я по вечерам ходила еще в Дом Печати, где я секретарствовала в обществе «Литературный фронт». Иногда после занятия я спускалась вниз, если было какое-нибудь интересное выступление. Помню, выступал Маяковский. Все места были заняты, я стала позади стульев в проходе. Из другой комнаты вышел Есенин, подошел ко мне, и мы некоторое время стояли вместе. Незадолго до этого я сфотографировалась в хорошей фотографии б. Сахарова. Я только что получила карточки, и они были у меня с собой. Я показала их Есенину. Держа их в вытянутой руке, он долго смотрел то на меня, то на них. Потом как-то медленно произнес: «Да это...» — и назвал мою фамилию.



Есть такая примета: когда снимешься, то это предвещает перемену жизни. Мне в шутку многие об этом говорили.

Перемены действительно в скором времени произошли. Так, с 1 января 1921 года я окончательно оставила работу в библиотеке НКВД и по распоряжению А. В. Луначарского, которому я подала письменное заявление, перешла в качестве заведующей в библиотеку ЛИТО. Во главе ЛИТО стоял А. В. Луначарский, но фактически отдел возглавлял сначала В. Я. Брюсов, потом А. Серафимович.

Брюсов, принимая меня на работу, спросил, какие я знаю языки. Узнав, что я немного знаю французский и немецкий, спросил: «А что же английский? Надо и английский знать».

Серафимович относился ко мне очень хорошо, просто, приглашал к себе в гости. Он жил тогда в гостинице «Националь». Секретарем у Серафимовича была писательница Санжарь¹⁹.

Как заведующей и хранительнице библиотеки мне дали небольшую комнату при библиотеке. В ЛИТО постоянно приходило много писателей и поэтов. Была секция «пролетарских поэтов» во главе с М. Герасимовым²⁰. Затем при ЛИТО существовала студия, в будущем преобразованная в Брюсовский институт, в которой принимали участие как лекторы кроме Брюсова еще А. Белый, П. Сакулин, М. Гершензон. Бывали публичные выступления. Читала свои стихи Адалис²¹.

Библиотека стояла в неразобранном виде, груды откуда-то привезенных книг, в большинстве иностранных, лежали на полу. Так как студийцы пользовались библиотекой, я решила просить их помощи. Несколько человек поднялись и пошли за мной в библиотеку. Один из них, Н.И.П., впоследствии видный библиограф, оказался знатоком иностранной, главным образом французской, литературы.

Когда спустя некоторое время я зашла в узкую комнату библиотеки, предназначенную для иностранных книг, то была поражена следующим зрелищем: где-то наверху, на лестнице, заканчивая работу, стоял студиец, а книги, маленькие книжки с золочеными корешками, стройными рядами стояли на полках. Книги были разбросаны по векам, по языкам. На полках библиотеки красовались указатели: XVII, XVIII, XIX век.

К сожалению, библиотека просуществовала недолго: примерно через год она снова лежала в свернутом виде на Волхонке, куда, в помещение бывшего «Княжьего двора»²², переехал и ЛИТО.

Вторая перемена произошла в моей жизни. В начале апреля 1921 года я вышла замуж за П. С. Александрова. Мы расписались в загсе, но так как мой муж по-прежнему приезжал только на несколько дней ежемесячно в Москву для сдачи экзаменов, то мой отец в шутку называл этот брак «мифическим»

Только с осени того же года мы с мужем стали жить вместе в комнате, которую мне дали в помещении ЛИТО на Волхонке. Так как комната была очень невелика, то некоторые вещи, в том числе корзиночку с книгами, автографами, письмами, я оставила у своих родственников на Остоженке. Там же были и рукописи Есенина. Когда через некоторое время я зашла за этой корзинкой, то оказалось, там был ремонт и моя корзинка была вынесена на чердак. Я бросилась на чердак и там, среди мусора, пыли и разных грязных бумаг, отыскала только три листка рукописей Есенина. Все остальное пропало, а может быть, кто-нибудь и польстился на книги и рукописи, отыскав их случайно на чердаке. Так как библиотека ЛИТО все еще не функционировала, я поступила на работу в библиотеку университета на Моховой, где мой муж был профессором математики. Как-то, возвращаясь со службы домой, проходя по тротуару около Музея изобразительных искусств, я услышала стук проезжающей мимо пролетки. В ней сидел Есенин с какой-то дамой. Это была А. Дункан. Поравнявшись со мной, Есенин привстал и, улыбаясь, приветствовал меня поднятой рукой. Пока пролетка удалялась, опережая меня, я все еще видела, как Есенин стоял, обернувшись ко мне, потом нагнулся и что-то шепнул своей спутнице.

Больше Есенина я не видела, если не считать его публичных выступлений, например в ЦЕКУБУ, в последующие годы, но мы уже не говорили друг с другом. На каждого из нас время наложило свою печать.

В 1922 году Литературный отдел Наркомпроса, ЛИТО, окончил свое существование. Частично, как литературная секция, он вошел в только что организованную Академию художественных наук. Библиотека ЛИТО влилась в библиотеку Академии, сначала как ядро ее, потом разросшееся до большой библиотеки Академии. Мы, сотрудники библиотеки, механически перешли в Академию: я в качестве заведующей читальным залом, мой помощник Н.К.П. — как заведующий библиотекой. Шли годы... 1922-й, 1923-й, 1924-й. В 1924 году мой муж уехал за границу, во Францию. Вернувшись осенью в Москву, он стал жить отдельно. Таким образом, мы разошлись, вернее, разъехались надолго, навсегда... Настали тоскливые дни... Одиночество!

Снова, как прежде, один,

Снова объят я тоской...

Да к тому же снова холодная комната. Чтобы не возвращаться в холодную комнату, я целые дни и вечера провожу в Академии. После занятий сижу или на заседании какой-нибудь секции, или в большом зале на каком-нибудь выступлении. Выступали Качалов, Тарасова, Мейерхольд. Жена Есенина, артистка Райх, сидела среди публики и очень волновалась, когда с Мейерхольдом кто-то был не согласен. В эти дни от А. В. Луначарского, который жил недалеко от Академии, пришла просьба командировать какого-нибудь сотрудника библиотеки для разборки его личной библиотеки²³. Я вызвалась это сделать. В течение нескольких месяцев, уходя из Академии, я шла к Луначарскому, где безвозмездно у него работала. Иногда меня оставляли обедать. За столом говорил один Анатолий Васильевич, больше о театре. По окончании работы Анатолий Васильевич подарил мне свою книжку с благодарственной надписью. Затем я стала работать, уже за небольшую плату, в личной библиотеке Петра Семеновича Когана, который был тогда президентом Академии и жил во дворе Академии, в небольшом флигеле...

И вот декабрь 1925 года. Я сижу в маленьком кабинете Петра Семеновича, разбираю книги, пишу карточки и ставлю их на полки. В соседней комнате, столовой, раздается звонок телефона. Подходит Петр Семенович. Звонят из Ленинграда. По репликам Петра Семеновича я догадываюсь о случившемся. Петр Семенович сам приходит ко мне в кабинет. «Есенин покончил с собой». Волнение охватывает меня. Мне хочется рассказать Петру Семеновичу о моем знакомстве с Есениным, о встречах, но я ничего не говорю. Возвращаюсь в библиотеку. Весть быстро распространяется. Все кругом говорят о том, что случилось...

Уже темнело, когда я, после занятий в библиотеке, направилась в Дом Печати, куда был перевезен труп Есенина. Со всех сторон туда уже шел народ. С трудом протискиваясь сквозь толпу, я прошла в зал, подошла к эстраде, около которой внизу лежал труп Есенина. Около него молча стояли близкие, родные. Я подошла совсем близко и взглянула в его лицо. Оно было неузнаваемо. Глубокая широкая складка лежала поперек всего лба. Выражение было такое, будто он силился что-то понять и не мог... Народ все прибывал. Становилось душно. Я вышла. Когда я спускалась по лестнице, навстречу мне, высокий, большой, шел Маяковский. Было уже совсем темно, когда я затворила за собой дверь Дома Печати. Свет от фонарей едва пробивался сквозь деревья сада. Шел снег мокрыми хлопьями и легко падал на землю. На похоронах Есенина я не была.

Библиография

1. **Аннинский Л. Конгениальная пара** / Л. Аннинский // Родина. – 2007. - №10. – С.113-117.
2. **Басинский, П. Кина не будет** / Павел Басинский // Новый Мир. - 2006. - №10.- С. 188.
3. **Головинская И. История левой босоножки** / И. Головинская // Вокруг света. – 2011. - №3. – С.162-170.
4. **Голубева, Л. Шукшин - Есенин в прозе** / Людмила Голубева // Наш современник. - 2015. - № 10. - С. 200-206. **ПДФ**
5. **Куняев, С. Есенин и «Альфреды»** / Сергей Куняев // Наш современник. – 2010. –N 12. – С. 239-267. **ПДФ**
6. **Курдаков, Е. Мифологическая тайна поэта** / Евгений Курдаков // Наш современник. - 2015. - № 10. - С. 207- 218. **ПДФ**
7. **Мешков, В. Сергей Есенин и Михаил Булгаков** / Валерий Мешков // Наш современник. - 2015. №10. - С. 191-199. **ПДФ**
8. **Морозов Г. Актриса и поэт** / Геннадий Морозов // Нева. - 2006. - №12. - С. 268.
9. **Павлов, Ю. «Есенин» без Есенина, или Путь в беспутье** / Ю. Павлов // Наш современник. – 2012. –N 6. – С. 263-273. **ПДФ**
10. **Талызин, М. Неповторимый : воспоминания о поэте** / М. Талызин // Наш современник. - 1995. - N 9. - С. 221-224.
11. **Шумихин, С. Последняя жена Есенина : [письма С. Толстой-Есениной]** / С. Шумихин // Новый мир. - 1995. - N 9. - С. 196-208.
12. **Эйгес, Е. Воспоминания о Сергее Есенине** / Екатерина Эйгес, предисл., примеч. и подг. текста С. В. Шумихина при участии С. И. Субботина // Новый мир. - 1995. -№9. - С. 181-195.



г. Выкса
м-н «Центральный», 20
Телефон: (831) 77-3-92-85
e-mail: home-book@rambler.ru
Составитель, компьютерный набор
и верстка-Абрамова С. Л.